



Абди-Жамил НУРПЕИС
И БЫЛ ДЕНЬ...
И БЫЛА НОЧЬ...

Роман в двух книгах

Перевод Анатолия КИМА

*Продолжение. Начало в № 10–12,
 2024, № 1–2, 2025.*

Книга первая
И БЫЛ ДЕНЬ...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ты ошалело вскинул голову с подушки, сел. В ушах всё ещё звучал пронзительный крик ребёнка, от которого, словно ужаленный змеей, ты и проснулся. Открыв глаза, тревожно заозирался вокруг. Взгляд упёрся в непроницаемую тьму ночи. Спросонок или со страху безлунная ночь на море показалась морской черной провальной пучиной, в глубине которой, борясь со встречным течением, только что пронёсся плотный косяк рыбы. И резкая свежесть морского ветерка, дохнувшая в лицо в то самое мгновение, когда ты очнулся, показала тебе вовсе не лёгким дуновением, а жутким прикосновением могильно-хладных глубин. Весь ещё во власти страшного сна, ты затравленно оглянулся по сторонам, будто опасаясь, что из пучины снова вот-вот вынырнет и набросится чудовище, подстерегавшее косяк. Но не было ни чудища, ни несущегося над бездной рыбьего косяка. Вместо всего этого мелькали вокруг какие-то расплывчатые тени и рядом на палубе что-то смутно темнело. «Что за чертовщина? Что со мной?..» Страхивая остатки дурного сна, всмотрелся и – вспомнил! Рядом спали под открытым небом твои рыбаки. Да, в каюте ещё с вечера было так душно, что ты поднялся на палубу и прикорнул рядом с ними.

После дурного сна не удалось вновь заснуть. Катер с десятком лодок на буксире отошёл от пристани ещё вечером. И хотя мотор деловито постукивал в тишине, тебе показалось, что судно не движется, стоит на месте. Желая удостовериться, так или не так, ты спустился в машинное отделение. Огромный, с колесо одноосной кокандской арбы, мотор грохотал равномерно и усердно. Двое мотористов, хмурые и черные от мазута на потных лицах, бросили сонный взгляд на тебя и, не проронив ни слова, снова занялись своим делом. В сплошном грохоте, в масляном чаду зазвенело в ушах, запершило в глотке, и ты поспешно поднялся на палубу, прошёл к носу судёнышка. Катер держал курс на ярко мерцавшую в аспидной черноте неба звезду на востоке. Если будет такой же штиль, если не подведёт мотор, то к следующему вечеру они, пожалуй, доберутся и до устья Амударьи.

Ты прислонился к мачте, на вершине которой покачивался блеклый фонарь. Из головы не шёл недавний жуткий сон, а в ушах всё стоял отчаянный крик ребёнка... И невозможно было теперь представить, в каком обличье ты присутствовал там, в глубине жёлтой мути. В обличье человека или рыбы? Если человека, то непонятно, почему вместе со всем косяком плыл куда-то, вы-

бываясь из последних сил? А то, что плыли вы, сносимые течением, несколько дней подряд, помнил отчётливо. Косяк был такой огромный и шёл так плотно, что взволновал полморья, поднимая со дна тёмную муть. Дышать было нечем, жабры забились грязью. Те, что послабее, истощённые, особенно перестарки, задыхались, отставали от косяка и, обессилив, уносимые назад течением, пропадали где-то сзади. А впереди косяка плыли бок о бок Серый Ярый и Мать-Белорыбица. Молодое тело Белорыбицы гибкое, упругое, точно из серебра литое. Плавники под брюшком огненно-алые. Глаза угольно-чёрные... И даже там, в сплошной мутной пелене, сверкала она своей ослепительной чешуёй. А вожак Серый Ярый, что рядом с ней, понимал, как тяжело всем, кто сзади, плыть во взбаламученной воде, и, упруго изгибаясь на ходу, всё чаще оглядывался, слал призыв за призывом: «Не жмитесь друг к другу! Не топчитесь! Смелее, братья!..»

...Ты всё понимаешь, будто он говорит на человеческом языке! И во сне диву даёшься, недоумеваешь, ведь несомненно – у рыб свой язык, а рыбий язык если и доступен ещё кому-нибудь, то разве что лягушкам или другим в воде живущим тварям. Так почему же тебе, человеку, так внятен призыв Серого Ярого? Почему ясно слышишь настойчиво подбадривающий голос его, голос измученного, но не сломленного долгой и трудной дорогой вожака? Однако никто не внемлет его терпеливым мудрым советам. Отощавшая рыба в отчаянии так же бестолкова и упряма, как отощавшая за зиму скотина. Рыбы не только не слушаются своего вожака, а, наоборот, вопреки его советам, жмутся, сбиваются ещё плотнее, плывут уже так тесно, что трутся боками, сдирают друг у друга чешую. Вода становится всё грязнее, мутнее, плыть приходится постоянно против течения. Одолели половину мучительного пути или, может, всего лишь треть – никто не знает, но всё чаще и чаще попадаются на дороге отбившиеся от своих косяков разноплеменные бедолаги. Ошалев от радости, бросаются навстречу, восторженно взбивают воду хвостами, машут плавниками – радуются встрече, совсем как люди...

Море становилось глубже. И мутный поток, затруднявший дыхание, просветлел. Зато участились утягивающие в глубину коварные водовороты. И опять Серый Ярый, обеспокоенный, пропустив Белорыбицу вперёд, чуть приотстал и обернулся к косяку: «Будьте бдительней! Не смотрите вниз! Держитесь плотней! Не отставайте!..» А море становилось всё глубже, темнее, вода холоднее, течение круче и сильнее. И тут случилось непредвиденное. Охваченная ребячливым порывом, маленькая Белая Рыбка вдруг промелькнула под брюхом Матери-Белорыбицы и вырвалась вперёд, в свободную воду. Ей пришлось поднырнуть – и тут её потащило вглубь. А навстречу из бездны серой тенью стремительно поднялось и набросилось, разинув пасть, мерзкое чудовище. Острые, как копыя, зубы хищно лязгнули. Белая Рыбка успела только вскрикнуть – по-человечески, по-детски... И от этого её жалобного крика, тоской наполнившего всего тебя, ты и проснулся.

Какой, однако, зловещий сон. И ведь это приснилось, когда только-только затеплилась была надежда в сердцах твоих рыбаков... «Ах, надо же... надо же, а? Не будет, видно, нам удачи и в устье Амударьи», – сокрушался ты. Э-э, ладно, подумал потом, уже успокаивая себя, сказано ведь: сон – это бред души. И нечего душу эту понапрасну травить.

* * *

Эх, какие славные были деньки! Столько лет косяками шли в их сети одни лишь неудачи, проваливались планы, и районное руководство махнуло было на вас рукой – и вдруг такая улыбка судьбы!.. Небывало богатая путина в

устье Амударьи враз могла поднять на вершину славы! Но всё на свете проходящее: и эта рыбацкая радость в мгновение ока растаяла, как дым.

Не зря, видно, говорили предки: от суеты прошедших дней не найти потом и следа. Пройдёт время, много ли, мало ли, и всё пережитое покажется давним сном – и то, что было, и то, чего не было и в помине, но что лишь намечталось в азарте жизненной суеты. И какой смертный в тоске по прошлым счастливым дням не ворошит своей памяти? Вот и ты стоишь на заснеженной льдине, стараешься оживить в памяти мгновения тех радостно-суматошных дней.

К вечеру следующего дня катер достиг устья Амударьи. Слова рыбака с верблюдицей оказались правдой. В пору весеннего половодья Амударья вышла из берегов и уже который день с рёвом, грохотом сбрасывала свои грязные потоки в Арал. И в простор синего моря клином уходила от устья мутно-жёлтая полоса, резко очерчивая границу между пресной и солёной водой. И можно было только диву даваться, как аральское рыбье племя, который уж год задыхавшееся в непомерно солёной воде, почуяло за тридевять земель эту преснину. А почуяв, сорвалось с места. И со всех уголков огромного моря ринулись несметные косяки, один за другим, в далёкий путь, на юг, к устью разбушевавшейся реки. Так покидают родные места люди, спасаясь от вражеского нашествия или мора. И ничто не в силах остановить рыбу: ни дальний путь, ни коварные течения, ни пучины, ни разбойничьи набеги притаившихся в темных глубинах хищников, ни рыбацкие сети, расставленные на пути. Повинуясь зову, обещанию жизни, отраде, которую сулила впереди спасительная пресная вода, рыбы косяки неостановимо и неумоимо валом валили к устью Амударьи. А там их днём и ночью черпали ошалевшие от невиданной удачи каракалпакские, узбекские рыбаки и рыбаки-казахи. Вслед за твоей бригадой примчались люди из колхоза «Раим» во главе со своим Растопи-камень председателем. Потом подоспело ещё несколько бригад. От лодок и катеров на реке в те дни рябило в глазах.

Это была большая путина! Побоище. В те дни, помнится, резко шибал в нос ни с чем не сравнимый рыбный дух. А берега реки стали скользкими от рыбьей крови и чешуи. Вдоль берега под открытым небом устанавливали весы.

Совсем некстати расхворался сивоголовый уполномоченный, и ты в то утро малость задержался у его постели. Когда же пришёл на приёмный пункт, на берегу было черным-черно от людей и лодок. По пёстрым тюбетейкам, войлочным колпакам, высоким лохматым бараньим шапкам, по туго повязанным на головах платкам ещё издали можно определить, что здесь, на пятачке удачи, сошлись дети трех народов – узбеков, каракалпаков и казахов.

Вдруг ты остановился. По пояс голые студенты, завязав носы платками, сбрасывали в яму лопатами огромную кучу тухлой рыбы и засыпали песком. Шёл ты и мимо расставленных весов, возле них выстроились длинные очереди. И здесь же стоял, как на птичьем базаре, великий галдёж. Лезли, напирали, сшибаясь тачками, костерили друг друга и в хвост и в гриву...

– Чего он там в бумагах копается?! Эй, ты, пошевеливайся, не видишь, рыба протухнет, – орали со всех сторон рыбаки на приёмщика.

Солнце между тем, застыв почти в зените, палило немилосердно. Не найдя своих рыбаков и здесь, ты, пробиваясь сквозь сутолоку и поминутно оглядываясь по сторонам, направился дальше. И через каждый шаг натыкался на приёмные пункты. Становилось всё многолюднее и шумнее. Потные, распаренные рыбаки бегом катили тачки, юрко сновали с носилками взад-вперёд. И особенно круто наседали на приёмщика:

– Ты что, сукин сын, не видишь, что рыба пропадает?!

– Аксакал, попридержи язык!

– А я возьму и не придержу! Ну, что ты мне сделаешь? Отрежешь отросток мой? На, режь!..

Ты улыбнулся. Вон, рядом с ним горою высится Рыжий Иван. Обычно неторопливый, степенный, он сейчас сноровистее всех катил тачку по узкому дощатому настилу от берега до приёмного пункта. Недалеко от них раймовские рыбаки тоже работали из последних сил. Направляясь к своим, ты вдруг увидел смуглую молодку. Чем-то она показалась тебе знакомой. Небольшого роста, но крепкая, туго сбитая. И кожей нежно-смуглая, прямо таволожья ветка в пору цветения. Она или не заметила твоего взгляда, или давно привыкла к мимолётным вспышкам молодых мужиков, которые даже и в этой суматохе успевают, проходя мимо, как бы ненароком жадно оглядеть её. Она же лишь наклонит голову в ситцевом платочке да дрогнет в уголках её губ снисходительная усмешка. Однако как легко несла со своим напарником носилки! Как задорно ступала по усеянному чешуёй берегу, словно дразня мужчин, поигрывая сильными бёдрами. Видно, ты чересчур долго смотрел на неё, она вдруг вся подобралась и, нахмутив брови, искоса сверкнула на тебя посуровевшими глазами. «Что, и ты как все?» – почувдился тебе немой укор. Но как ни старалась не подать виду, а всё же смутилась, сбилась с ровного и уверенного своего шага. Опустив у весов носилки, привычным женским движением торопливо одёрнула подол платья, опять покосилась на тебя.

Никогда, пожалуй, ни на одну женщину, кроме Бакизат, ты не смотрел с таким откровенным вожделением. И это тебя самого удивило. Но в душе всё же понимал: если сам, со своей стороны, в решительный момент не дрогнешь, то эта пышущая здоровьем и молодостью цветущая смуглянка и подавно не робеет. Аллах свидетель, не робеет...

И, весь загоревшись от этой затаённой дерзкой догадки, торопливо отвёл глаза. Но всё-таки не удержался и, удаляясь, ещё раз незаметно скосил взгляд в её сторону. Она вытерла концом ситцевого платка пот со лба, затем взяла алюминиевую кружку, наклонилась к бочке под тентом с питьевой водой. Перехватив чужой взгляд, она, в отличие от тебя, глянула прямо, смело, и в её черных глазах мелькнула снисходительно-лукавая, вмиг задевшая твоё сердце усмешка.

Жара, кажется, не столько мешала, сколько подхлестывала твоих рыбаков. Верховодил среди них Рыжий Иван. Тут же под ногами у всех путался, развевая полы чапана, и Сары Шая. Он тоже весь взмок. Голос охрип и часто срывался на визг. В этой людской суматохе, где все работали споро и сосредоточенно, он один шумел, суетился, подбегал то к одному, то к другому, приставал: «Давай-давай!», «Скорей!», «Живей!», «Пошевеливайся!», «Делай как я! Вот так!» Заметив тебя, Сары Шая раззадорился пуще прежнего, подскочил к приёмщику, заорал ни с того ни с сего:

– Эй, ты! Принимай быстрее!

– Отстань, старик!

– Эй, ты, ты знаешь, рыба – достояние государства?

– Да знаю, знаю!.. Отвали!

– Нет, не знаешь! В городе люди от одного рыбьего запаха дуреют.

– Вот зануда! Ты понимаешь слово «отвали»?!

– Не понимаю. Не хочу понимать. Если рыба протухнет, загремишь по статье Уголовного кодекса РСФСР и Казахской ССР...

– Чем тут языком трепать, пошёл бы лучше рыбу таскать.

Сары Шая умолк. Отошёл. Взглянул за один конец носилок, осмотрелся по сторонам, приглядывая себе напарника.

– Эй, иди сюда! – кликнул он старика Кошена.

– Почему я должен идти! Вот и не пойду, – тот так и застыл в непримиримой позе.

Сары Шая, видно, что-то сообразив, ухмыльнулся.

– Да ты слабак. Даже к носилкам тебя не подпущу.

– Как это слабак? Как это ты можешь меня не подпустить?

Кошен мелкой трусцой подбежал к носилкам, отпихнул полезшего было наперерез Сары Шаю и ухватился за ручки носилок.

Ты усмехнулся. «Ох и дурачье! Чисто дети», – подумал. Ты вспомнил, как на свою беду поручил однажды этим вздорным старикам серьёзное дело. В прошлом году улов был так же, как нынче, никудышным. Ты, чтобы раздобыть семьям рыбаков хоть кое-какие деньжата на чай, сахар, собрал с каждого двора по одной-другой овце, определил Сары Шаю с Упрямым Кошеном в погонщики и приказал им к базарному дню пригнать скотину в Челкар. Сам ты выехал на своём старом грузовике сразу. Через три дня с утра начался базар. Потом день, мало-помалу разгуливаясь, приблизился к обеду. Уже и солнце палило, повиснув в зените. Однако, к твоему ужасу, погонщиков не было даже и после обеда. Ты не находил себе места. На душе становилось тревожно. Как бы чего не случилось со стариками-погонщиками. Выпросив у знакомого человека коня, ты вскоре доскакал до барханов Улы-Кума. Конь шёл тяжело, увязал по самые копыта в песке. А ты всё подгонял его плёткой, озирался вокруг. И вдруг оторопел, натянул повод. Недалеко от себя увидел следы врассыпную бежавших по барханам овец. В двух-трех местах заметил кровь, а чуть дальше – вздувшуюся тушку. Значит, предчувствие не обмануло. Ты яростно стегнул коня. Выбившееся из сил бедное животное еле взобралось на какой-то бархан, и тут ты, глянув вперёд, обомлел: повсюду валялись задранные волками овцы. Видать, напала волчья стая. «Вот оно, Божье наказание! Хоть бы погонщики в живых остались...» Нахлестывая измученного коня, ты поскакал по овечьим следам. Конь дышал бурно, надсадно, не чувствуя больше ни шенкелей, ни плётки.

Вдруг за дюной рывкнул верблюд, и вслед послышался чей-то хриплый голос. Будто там кто-то кого-то схватил за горло, душил, а тот вырывался и хрипел. Забыв о том, что у тебя в руках нет ничего, никакого другого оружия, кроме камчи, ты ударил коня и во весь мах выскочил на бархан. О Аллах! Вот где эти бедолаги!..

* * *

Оказывается, эти бедолаги, как и было им наказано, два дня гнали около ста овец, не спеша, по холодку, с частыми остановками на водопоях и травянистых пастбищах. На третий день благополучно достигли сыпучих песков Улы-Кума. Здесь начинались величественные барханы вперемежку с дюнами. Погонщики помнили строгий наказ председателя: в песках Улы-Кума глядеть за отарой в оба. Не ровен час, овцы запросто разбредутся и может затеряться между дюнами.

Сары Шая и Упрямый Кошен старались как могли, подгоняя под собою быстроногих верблюдов, зорко следили за подопечными с разных сторон. Отара, согнанная в тесную гурьбу, трусилась впереди, потряхивая курдюками. Овечки, как только подошли к дюнам, жадно набросились на тучный травостой, с наслаждением срывая на ходу верхушки лиловой полыни, красной изени, сочного пырея. Так и шли, не поднимая головы. Смачно хрумкая и перхая, преодолевали дюну за дюной, карабкаясь по их крутым склонам, спускаясь с пологих, нагретых солнцем изволок. Наконец взобрались на вершину огромной беломакушечной дюны, и вот тут погонщики с высоты поджарых

длинноногих атанов увидели вдаль подпирающую небо красную водокачку города Челкара. Казалось, и она со своей высоты с изумлением уставилась на запылённых гостей из степи, как бы спрашивая: «Ах, так это вы, что ли?!» И погонщики с высоты осёдланных верблюдов поневоле подались вперёд, как бы откликаясь с готовностью: «Да-да, это мы... те самые...» И погонщики мигом повеселели:

– Эй, ты!.. Видишь во-о-н ту красную штуковину?

– А как же! Не слепой.

– Здорово, а?! Смотри, чуть не со всей степи видна!

– А знаешь, она, говорят, воду качает...

– Ай, сомневаюсь... По-моему, её поставили, чтобы такие, как мы, путники с дороги не сбились. Как минарет, понимаешь?

– Может быть... Видишь, издали манит, будто знак подаёт, мол, здесь город.

– Да-а... урусы большие выдумщики. Чёрт-те что напридумают. Говорят, эту башню построили не наши, не нынешние урусы, а ещё те, во времена белого царя Меколая.

– Так оно и есть... Этот народ из камня верёвки вьёт, чего хочешь тебе построит.

– Ишь, черти. Хватает же у них терпения!

Так они переговаривались, точнее, перекликались с вершин двух соседних дюн, сидя на рослых поджарых атанах. Разговор, однако, на этом иссяк, и оба ещё долго всматривались в неясные очертания приземистого степного городка.

– Эй, хмырь, слышишь... Ты мог бы, как урусы, не ленясь, изо в дня в день перекладывать камень на камень, а?

Повернулся к нему и увидел, как «хмырь», запустив пальцы под войлочную шляпу неопределённого цвета, озабоченно почесал испятанное лишаем темя. «Интересно было бы узнать, о чём думает. Может он затрудняется ответом на мой вопрос?»

Не-т, на уме у Сары Шаи совсем другое. «Эй, эй, верно, мы спятили», – думал он, глядя на овечек, которые завтра могут оказаться в руках городских жуликов. «Вот ведь оно как выходит, а! – вдруг подумалось ему. – Ведь завтра всех этих милых овечек в два счета расхватают охочие до дармовщины горожане». В душе Сары Шаи вспыхнула глухая неприязнь к горожанам. В самом деле, какие-то неведомые ему люди завтра же растащат этих овечек по своим дворам, и какой-нибудь проныра, способный из пыли выколачивать деньги, продаст втридорога на базаре. Потом эти милые овечки окажутся неизвестно в чьём казане. «Так за каким дьяволом тогда стараться? Чего радеть за дело, от которого тебе пользы ни на ржавую копейку?» – сообразил, почёсывая голову, Сары Шая, с досадой глядя на своего напарника. «Да, хотел бы я знать, чего этот дуралей так голову задрал. Можно подумать, не на верблюде, а на троне сидит. Ишь ты, как он, однако, за овечками следит! Пусть бедняжки попасутся. Всё равно завтра превратятся в шашлык».

– Эй! Эй, Кошен! Скажи, почему народ прозвал тебя Упрямым, а?

– Я упрямый. Вот и прозвали.

– А известно тебе, что и во мне упрямства хоть отбавляй?

– А почему тогда не называют тебя упрямым?

– А хочешь, испытаем, кто из нас упрямее?

– Давай! Айда, давай! – мгновенно оживился Кошен. – Попробуем, кто кого переупрямит!..

Их разделяла глубокая, поросшая тамариском лощина между двух огромных белоголовых дюн, и потому во время разговора им волей-неволей при-

ходило покрикивать, вытянув шею. Решив потягаться упрямым, они одновременно повернули верблюдов, ударили их конопляными плётками и размашистой рысью понеслись навстречу друг другу. Атаны, шумно раздувая ноздри, сошлись, чуть не сшибаясь грудью. Оба упрямыя восседали в высоких сёдлах, пыжась придать себе воинственный вид. И у обоих непримиримо загорелись глаза: у одного – жёлтые, немигающие, у другого – крохотные, чёрные, пронизывающие.

– Ну давай! Давай, если ты такой упрямый.

– Айда, давай, давай! Скажи... как упрячиться-то будем?

– А как хочешь! Я буду стоять на своём. Не родился ещё тот казах, кто меня, Упрямого Кошена, переупрямит!

Сары Шая лишь краем глаза глянул на разбрёдавшихся во все стороны среди барханов овец. Потом насмешливо скосил взгляд на вздорного, обо всём на свете позабывшего старика, уже изготовившегося к схватке на своём длинноногом, шумно дышавшем поджаром атане. Маленькие, глубоко посаженные чёрные глазки соперника метали яростные искры. От всей воинственной позы старика веяло непреклонностью. «О Аллах, такого разве переупрямишь!..» – думал Сары Шая.

Должно быть, в этом ничуть не сомневался и сам Кошен. Вдвое сложив конопляную плётку, он резко взмахнул ею над головой:

– Эй ты, хмырь! Сгоняй-ка овец! Да живо!

Сары Шая не то что не сдвинулся с места, даже не взглянул на отару, вольно разбрёдшуюся среди зарослей и барханов. Он только обрадовался, что повод потягаться со своим строптивым напарником подвернулся так скоро.

– Сам сгоняй! – крикнул он тотчас с вызовом, гордо выпрямившись в седле и давая тем самым понять, что уступки от него не дождёшься. При этом Сары Шая сильно дёрнул повод, продетый через ноздри своего черного атана. Верблюд взревел от боли и поневоле попятился. Но Упрямый Кошен, от всей души поразившись, что всё-таки нашёлся вдруг во всей степи человек, решившийся приказывать ему, так же искренне возмущился этой неслыханной наглости.

– Нет!.. Ты... ты сгоняй! – взвизгнул он, приняв вызов, и тоже с силой рванул повод.

Тугогорбый мосластый атан, привыкший в эти дни рысью кружить вокруг отары овец, от неожиданности присел, громко запротестовал, рывкнул и тоже отступил на два шага.

– Почему я? Ты сгоняй!

– Нет, ты!

– Нет, ты! Ты!

– И не подумаю даже!

Срываясь на крик, уже теряя голову в азарте схватки, Сары Шая с такой силой рванул повод, что из ноздрей голенастого статного атана брызнула кровь. И бедное животное, взревев, снова попятилось, приседая на задние ноги...

Овцы замерли. Подняли головы. В их глазах застыло недоумение. От удивления даже жевать перестали и, с пучками травы в зубах, обернулись на двух столь спокойных, казалось, в эти дни погонщиков, как бы спрашивая: «Эй, почтенные! Что меж вами стряслось?!» Было от чего недоумевать бедным овцам: погонщики, попеременно грозно вскидывая плетью, отрывисто кричали друг на друга, заставляли ошалевших верблюдов идти не вперёд, а пятиться и приседать... И, таким образом, в канун базарного дня, в священный предзакатный час, когда порядочные правоверные обращают лик свой в сторону благословенной Мекки, творя молитвы во имя удачного торга и благополучного возвращения домой, двое почтенных стариков затеяли в безлюдной степи

состязание: любой ценой, во что бы то ни стало переупрямить один другого. Наступая и отступая шаг за шагом, они и сами не заметили, как опустились сумерки. В азарте сражения прошла короткая летняя ночь. Об овцах, оставшихся без присмотра в барханах, и думать забыли. Что стряслось с ними? Не безумие ли охватило их? Впрочем, в такой глухой безлюдной степи всё может случиться. Глаза у обоих ввалились. Щеки запали. Верблюды под ними еле стояли на ногах. У одного вся морда в крови, у другого ноздри порваны. Наконец Сары Шая перехватил твой взгляд:

– Во всём он виноват. Он! Он! Я ему ещё вчера вечером говорил, поди верни, говорю, овец. А он... старый хорёк...

И тут Кошен, угрожающе наезжая верблюдом, замахнулся на Сары Шаю камчой.

– Эй, хмырь... Почему не ты, а я должен?!

Ты повернул коня и затрусил обратно. О, кретины! О, бестолочи! Дожили до седин. Почтенные отцы семейств – и вдруг на тебе... В пустынной степи, бросив на произвол судьбы скот, додумались состязаться в упрямстве.

На обратном пути нашёл нескольких полуживых овец. Потом наткнулся ещё на пяток каким-то чудом спасшихся среди барханов. До вечера еле собрал остатки стада и пригнал в город.

Вскоре притащились за тобой те двое. После чая Сары Шая с Кошеном насилу пришли в себя. Кошен был недоволен собой, но, не желая признавать ни перед кем своей вины, упрямо вытянув шею, колом торчал за дастарханом. А Сары Шая подсел поближе к своему мрачно насупленному родичу, робко поглядывал, покашлял, поёрзал, потом тихо начал:

– Нас, двух старых придурков, Жадигержан, дорогой, можешь ругать сколько угодно. Хочешь, казни! Воля твоя. Только, айналайын, сперва выслушай меня... – Он опасно бросил на тебя осторожный взгляд, но, видя, что ты молчишь, осмелел, забалабонил: – Оу, да разве в старину не говаривали: тот, кто прогонит сто коров без брани сто вёрст, попадёт на том свете в рай? Если бы ты знал: а эти... эти окаянные овцы, скажу тебе, ойба-ай, хуже даже коров. Ей-богу...

Ты молча встал, будто собираясь выйти на улицу. Кто-то даже посторонился, уступая тебе дорогу. Но ты не сделал даже шага. Не дав опомниться, набросился на стариков, сгрёб обоих за шкуру. Не обращая внимания на их вопли, выволок на улицу:

– Если вам ещё не надоело жить... убирайтесь вон отсюда! Сгиньте с моих глаз!

И резким, сильным толчком отшвырнул их от себя, сел в колхозную развалюху и на ночь глядя отправился домой.

А далее... уже без него произошло: Сары Шая и Упрямый Кошен, оставшись одни в пустом дворе, стояли друг против друга, как бы соображая, что случилось с ними. А когда всё дошло до их сознания, сразу оцетинились. Вмиг расвирепев, накинулись друг на друга:

– О мразь, ты во всём виноват!

– Нет, не я... Ты! Ты, пёс паршивый! У-у, вот я тебе!..

И сцепились в неистовой драке. Сбежавшиеся на крик люди и не думали разнимать их. Просто глядели с любопытством, как смотрят обычно, от нечего делать, на бой собаки с кошкой. Старики уже катались по земле. Попеременно одолевал один другого. Под конец всем показалось, что Сары Шая взял верх над Упрямым Кошеном и навалился на него всей тяжестью. И вдруг, к их удивлению, не Кошен, а он, Сары Шая, завизжал как резанный.

Обозлённый тем, что тот оказался ловчее, сноровистее и теперь совсем уже его одолевает, Кошен готов был задохнуться от обиды и позора. Очутившись

под Сары Шаёй, тощий, кожа да кости, упрямец изо всех силёнок наносил удары, царапался, щелкал зубами, примериваясь хватануть за нос. Но Сары Шая, угадав злое намерение упрянца, всё отворачивал лицо. И тогда рассвирепевший Кошен, изловчившись, поймал ртом ухо Сары Шаи и по-звериному вонзил в него острые зубы. Брызнула кровь. Завизжал, покотившись по земле, Сары Шая. А Кошен выплонул оказавшееся у него во рту ухо врага, не пожелавшего уступить ему в упрямстве.

Кто-то подбежал к Сары Шае:

– Ойбай, несчастный, хватай откушенное ухо, беги в больницу. Пока кровь не остыла, хирурги мигом пришьют на место. Может, заживёт.

– Э, нет, – сказал Сары Шая, – как-нибудь проживу и с одним ухом. А это... – и тут Сары Шая немигающими жёлтыми глазами взглянул на своё окровавленное ухо, которое валялось в пыли, – а это на суде знаешь какой факт. Неопровержимое доказательство. Вещественный материал. О, теперь этой бешеной собаке не отвертеться. Теперь ему тюрьма! Ну, а вы будете свидетелями на суде.

Он поднял окровавленное ухо с земли, аккуратно завернул в платок и спрятал за пазуху... Самое неожиданное во всей этой истории было то, что, когда ты с поникшей головой вернулся из города, в ауле уже всё знали. И не только знали, не только пересказывали на все лады случившееся, но и хохотали до слёз... Где бы ни собирались аульчане – главный разговор о двух погонщиках. Какой-то стихоплёт умудрился даже сказ сложить. В этом сказе Сары Шая и Упрямый Кошен воспевались, ни много ни мало, как древние батыры из эпических поэм, а их верблюды, самые заурядные рабочие атаны, сравнивались со сказочными арабскими жел-мая¹, каких не видывал свет. Схлестнувшись в яростной битве среди песков Улы-Кума, оба достойные друг друга батыры, забыв обо всём на свете, призывая на помощь Аллаха и святых аруахов, бились каждый за своё праведное дело. И в этом месте слушатели хватались за животы и катались по полу от смеха. В устах аульных остряков Сары Шая отныне стал батыром Карнаухим, не прекратившим единоборства и после того, как свирепый батыр Кошен откусил ему ухо. Со временем стал посмеиваться и ты...

И вот теперь опять сошлись-встретились эти двое... Сары Шая, хитрюга, себе на уме, своей выгоды никогда не упустит. Этим дьяволом всегда руководит тайный расчёт, пусть порой и глупый, но всё-таки расчёт. Но почему хорохорится и чего вечно добивается другой старый дурень? Лишь Аллаху ведомо. Он гордится тем, что прославился в народе своим прозвищем – Упрямый Кошен. О, дети греха, зачатые глупостью!..

* * *

И сегодня, как вчера, как во все предыдущие дни, лезла в сети больше всего низкопородная хищная рыба. Она оказалась наиболее выносливой и подвижной. Судак, щука и сом легче других приспособлялись к суровым условиям оскудевшего моря. Однако и им с каждым днём становилось всё труднее. Да, мало осталось в умирающем море доброй рыбы, а та, что выживала, давно разошлась по глубинам в поисках прокорма и спасительной преснины. Попробуй найди её, догони, схвати. Вот и для них, хищников, настала волчья жизнь.

Раньше куда как вольготно и благодатно им было. Что ни залив, то зимовка. Летовка. Вдоль берегов тянулись камышовые заросли. Колыхалась

¹ Боевой верблюд. В арабских странах до недавнего времени существовала верблюжья кавалерия.

вечнозеленая куга, водоросли. Бывало, разбушуется, заштормит море, а там, в тихих и сонных заливах, где жировала рыба, стоит покой и уют. В густых водорослях и зелёных кураках был настоящий рыбий рай. Сюда неисчислимыми косяками собиралось отовсюду рыбье племя. Кишмя кишело, метало икру, размножалось славное аральское рыбонаселение. Через месяц-другой после икрометания рябило в глазах от разноплеменных мальков, бычков, головастиков и всякой подводной твари. Шустрая глупая молодь сама лезла в чужую глотку. Затаись только да разинь пасть пошире – и будешь сыт, как на званом тое...

Какими бы выносливыми ни были судак и щука в солёной воде, но на суше они вмиг издыхают. Вон, лежат на берегу, очерив зубастую пасть, точь-в-точь как поленья, заготовленные на топку... Неприятно костистые головы: сухие, зубастые, с голодными, злыми глазами. И тут взгляд твой упал на лежавшую чуть в стороне белую рыбу... всю жизнь провёл ты в море, но такой красивой, ослепительно белой ещё не видел. Не мог оторвать от неё замороженных глаз. Она была куда крупнее других рыб, с розовыми плавниками, черными глазами, вся с головы до хвоста словно отлитая из серебра, а в каждой чешуйке её играли, переливаясь, солнечные блики. Но она уже мертва. И умирала, видно, тяжело, в муках, в агонии: черные круглые глаза выкатились, молодое сильное тело выгнулось. Да, вначале тебя поразила необычайная красота этой белой рыбы, но вот, замороженно разглядывая её, ты вдруг поймал себя на мысли, что однажды уже где-то видел её. Постой! Не та ли самая Мать-Белорыбица, которая привиделась тебе во сне? А вот рядом с ней и маленькая Белая Рыбка. Ей-богу, та самая Белая Рыбка, крохотная, будто игрушечная, прижалась к брюху матери, словно прося защиты. Ты даже застыл в недоумении. Апырай, где та, столь явная для человека, грань между сном и явью? Разве мог ты предположить, что спустя всего месяц воочию увидишь гордую Белорыбицу, приснившуюся тебе ночью на катере? И пусть это вовсе не Мать-Белорыбица, но, всё равно, и она в поисках лучшей доли сорвалась с насиженного места, поднялась и увлекла за собой своё племя и через всё море пустилась с севера на юг, преодолевая огромное расстояние и многие опасности, чтобы здесь, достигнув желанной цели, хоть раз напиться пресной воды. Случайно ли попала в сети? Может, запуталась, спасая кровинку свою? Или даже, видя, что её дитя в сетях, сама в отчаянии пошла на гибель? Как бы там ни было, а билась, видать, славная белая рыба за жизнь и за дитя до последнего... Гляди, как глубоко, под самое горло, врезалась в неё капроновая нить. И ещё сочившаяся из раны под горлом алая кровь капля за каплей стекала по нежному белому брюху. А когда одна капля, скользнув, попала прямо на головку маленькой белой рыбке, та, будто очнувшись, вытянув маленькие губы, точно младенец, сосущий грудь, стала судорожно глотать воздух!

И ты почему-то очень обрадовался, заметив признаки ещё не погасшей жизни в крохотном тельце. И бросился было к рыбке, чтобы выпустить её в море, но наперерез тебе шёл упрямый старикашка.

– Подожди, Кошкеке!.. Стой! – невольно вскрикнул ты. Даже вытянул вперёд руку. – Стой! Стой же!

Упрямый Кошен не сразу уразумел, отчего это обычно такой спокойный, такой медлительный баскарма вдруг так всполошился. Единственное, что успел он сообразить, – кто-то пытается ему преградить дорогу, остановить его...

– А вот и не встану! Что мне сделаешь?

И строптивый старик, резко оттолкнув твою протянутую руку, шагнул намеренно один раз, другой и всей тяжестью наступил резиновым, изгвазданным кровавой слизью сапогом прямо на белую рыбку, только что трепыхавшуюся...

Ты даже зажмурился. Отчего-то в глазах потемнело. И то ли какая слабость пала в ноги, то ли, может, хватил солнечный удар, только ты вдруг покачнулся и, чтобы не упасть, ухватился рукой за кого-то, кто оказался рядом. Это был сивоголовый уполномоченный, тоже пришедший глянуть на улов.

– Жадигер?... Жадигержан, что с тобой? Не перегрелся часом?

Ты покачал головой. Но открывать глаза всё не решался. Уполномоченный, испугавшись, крепко держал тебя под руку. В висках у тебя с шумом билась-стучала кровь.

– Надо же!.. Чёрт знает что!.. Может, врача позвать?

– Нет-нет! Пройдёт...

Не сказав больше ни слова, ты в тот же день отправился домой, в аул. Даже не со всеми своими рыбаками попрощался. В открытом море катер, на котором ты плыл, настиг шторм. Море бушевало весь следующий день и всю ночь. Волны мотали и швыряли судёнышко, как щепку. От жестокой качки тебя подташнивало, кружилась голова... Сойдя на берег, ты брёл, пошатываясь, заплетаясь ногами, как пьяный, с трудом дошёл до дома. Первыми, кого увидел, были дети. Потом увидел жену. Оказалось, что она всего лишь днём раньше возвратилась из Алма-Аты. Не спросила тебя, как у вас с уловом. А ты в свою очередь не спросил её, как провела отпуск в столице. Поскольку нужно было что-то говорить, ты через силу выдавил:

– Извини... Не смог встретить.

Бакизат рассеянно разглядывала свои покрытые лаком, отращенные за время отпуска ногти. Ничего не сказала, лишь, повернув голову, мелькомглянула на тебя и усмехнулась. И, так и не проронив ни слова, вышла.

Оставшись один, ты невзначай глянул в зеркало и испугался своего собственного вида. Исхудал. Почернел. Весь оброс. Ты и раньше не особо следил за собой, а сейчас вид твой стал и вовсе диким, запущенным. Ты тоже молча, устало усмехнулся.

* * *

То ли море укачало, то ли перетрудился в азарте путины в устье Амударьи, но почувствовал, что и ты сильно устал. В тот день у тебя не было сил даже перемолвиться с домашними. Полусонный, кое-как поужинал и, не дожидаясь, пока уберут со стола, рухнул в постель. Какой уж прок от обессиленного вконец мужчины? Когда проснулся наутро, жены уже рядом не было, но постель хранила ещё её тепло. Ты был раздосадован и зол на самого себя. Весь день ходил взвинченный, с нетерпением ожидая наступления вечера. Время тянулось долго, будто испытывая твою выдержку. К тому же, ещё более распалая тебя, Бакизат в этот день, как и вчера, словно нарочно оттягивая время, подала ужин позже обычного. Потом долго возилась, гремя посудой, на кухне. Потом закрылась в комнате дочери, до полуночи помогая ей готовить уроки. А ты... ты в спальне, снедаемый нетерпением, весь исходил бешенством и злостью. Всё порывался пойти за нею, но, вспомнив, что там дочь, сдерживал себя.

Сердце проклятое чуяло, почему она избегает супружеской постели. Ты не знаешь, сколько ещё пролежал не сомкнув глаз. Быть может, перевалило уже за полночь. Видимо, решив, что ты уснул, она вошла бесшумно. Осторожно ступая на цыпочках, подошла к кровати. Перед тем как лечь, вытянув шею, посмотрела в твою сторону... Потом повернулась к своей кровати, легла под одеяло и затихла. Наступившую тишину дома вдруг нарушил твой глухой голос:

– Ну, как отдохнула?

Бакизат этого никак не ожидала. Вздрогнула. Но, не подавая вида, что испугалась, спокойно ответила:

– Неплохо.

– А как Алма-Ата?

Бакизат по-прежнему сдержанно ответила:

– Хорошо.

И она, и ты, хотя обменивались лишь незначительными фразами, – в глубине души каждый из вас понимал и с нарастающим напряжением ожидал, что всё это не кончится добром.

После недолгого молчания тот же глухой, неприятный голос спросил:

– А как там Азим?

Бакизат перевернулась на другой бок и сказала, зевая:

– Давай спать. Уже за полночь. Завтра поговорим.

Закрыла глаза. Они у неё и в самом деле уже слипались. Но глухой голос, сдерживая дрожь ярости, зазвучал настойчивее:

– Как там Азим?

Бакизат вскинула голову с подушки. И хотя в темноте ты не видел её лица, тем не менее хорошо представлял, как в черных глазах её загорается знакомая тебе недобрая усмешка. Зная, что ты сгораешь от ревности и, весь дрожа, с трудом сдерживаешь себя, она, вместо того чтобы испугаться, неожиданно развеселилась:

– А что тебе Азим? Известно, он не ловит рыбу в мутной воде.

Сказав так, подоткнув одеяло под себя, решительно отвернулась. Ты не знал, что ей ответить. Всю ночь не мог сомкнуть глаз. Утром встал, оделся и, даже не глянув на постель жены, вышел во двор. За столом сидел не поднимая глаз. И весь день ходил мрачный. Вечером, не дожидаясь ужина, в ранних сумерках лёг в постель и вытащил из-под кровати припрятанную там бутылку водки. Выбив сургучную пробку ударом чугунно-тяжкого кулака, не стал искать посуду и опрокинул бутылку в клокочущее горло. Бакизат ничего этого не видела. Но, предчувствуя, что вечер не предвещает ничего хорошего, решила перебраться в комнату дочери. Взяла одеяло и подушку, но, увидев, как ты вскочил с постели и встал у двери, остановилась. Молча посмотрела на тебя. Небось вспомнила, что её мать называла тебя Нар Кара. Черный дромадер. В самом деле, с кем бы ни оказался рядом, плечистый, крупный, рослый, ты всегда возвышался над другими на целую голову. А в тот момент, наверное, был особенно страшен и вполне соответствовал тётчиному прозвищу. Мрачнее тучи. Простоволосый. Босой. И ноги, действительно, как у верблюда, с широкими ступнями, громадными пальцами, до самых синих ногтей заросшими сплошной черной шерстью. Красные доски пола прогнулись и заскрипели под тяжестью твоего тела, когда ты, опережая её, добрался до двери и, заперев её, положил ключ в карман.

– Это ещё что такое?

– Вот так. Никуда отсюда не выйдешь!

– Не дури,пусти!

Ты промолчал. Изо всех сил крепился, чтобы не упасть.

– Пусти! Слышишь!

– Не пуцу. С академиком миловаться горазда. А с мужем...

– Прошу тебя...

– Не пуцу... И всё!.. Теперь и меня попробуй. Есть ли разница между рыбаком и академиком.

– Скотина!

– Что?

– Ско-ти-на!..

Ты уже с трудом владел собою. Голова кружилась. Сознание мутилось. Но что сказала жена, ты помнишь. И то, что она плюнула тебе в лицо, тоже пом-

нишь. А что было потом... Всё, что было потом, ты, хоть убей, не мог вспомнить. Тебе кажется, что жизнь твоя в тот миг резко оборвалась. Да и потом, находясь уже на следующий день на дальнем берегу моря в хижине своих рыбаков, как бы ни перебирал в памяти события той злополучной ночи, так и не вспомнил ничего, кроме разве что злых слов жены, брошенных ею в запале, да изодранного тобою в клочья её халата. Ты не помнил, даже не почувствовал, как пришла в бешенство Бакизат и, выйдя из себя, сердито топала ногами.

– Пусти! Пусти! – кричала, сжимая кулачки, вся дрожа от негодования.

Кричать-то кричала... Но всего, что случилось потом, понять была не в состоянии. Да ей и не дали понять. Будто внезапно взвился вихрь, будто налетела буря. Словно некая неистовая сила играючи, будто пушинку, взметнула её в воздух, легко оторвав от пола, и швырнула на кровать. Она упала навзничь. Смысла не было сопротивляться. Малейшая попытка дать отпор лишь разжигала бы твою злобу. Она заплакала, уткнув лицо в подушку. Неизвестно, сколько так пролежала. Этого и сама не знала. И не хотела знать. Больше всего боялась, что ты, потеряв стыд, бесчинствуя, надругаешься над нею. От страха она зажмурила глаза. Она не желала ничего видеть. Не хотела ни о чём думать. Но, помимо её воли, перед глазами возникал, мерещился Нар Кара, который громадной темной глыбой надвигался на неё. К её ужасу вот-вот подомнёт её под себя, словно беркут, настагающий лисицу. Она в бессилии зарылась лицом в подушку и зарыдала, закусив губы до крови.

Но ты, опрокинув в себя целую бутылку водки, ничего не соображая, стоял, пошатываясь, и, потеряв в какой-то момент равновесие, рухнул как подкошенный прямо на пол. Словно отравленный ядом пёс, ты, оказывается, катался по полу и стонал: «Ойбай! Ойбай!.. На кого меня променяла? Кто он и кто я? Он ведь дешёвый артист. Двуличный... Двуличный...» И будто, как передавали потом тебе, ты вроде бы бился лбом о холодные доски крашеного пола. Потом будто канул в небытие, провалился в какую-то тёмную глухую бездну.

Но, должно быть, проснулся быстро. Придя в сознание, всё равно не понял, что лежишь не в постели, а на полу, – видно, так подействовала с непривычки бутылка водки. Лежал, не шелохнувшись, как убитый, потом приподнял голову. Мутный взгляд остановился на жене. Встрепенулся, увидев на ней красивый халат, который она привезла из столицы. Встал, пошатываясь. Притянув к себе Бакизат, обеими руками схватился за ворот халата и, вымещая на нём всю свою ярость, с треском разодрал его пополам. Потом долго и неуклюже гонялся за полуголой, визжавшей от страха женщиной по комнате. Побушевав так, перевернув всё вверх дном, опять, как подрубленный, рухнул на пол. И снова в беспомощности, будто камень в омут, провалился в тёмную глухую бездну. И лишь на другой день в предутренних сумерках, когда едва начал сереть рассвет, с трудом приходя в себя, разбитый и помятый, воротился на свет божий из затянувшейся, казалось, тебя навсегда беспросветной бездны. Однако открыть глаза не смог, лежал, стонал, не в силах оторвать от пола налитую свинцовой тяжестью, раскалывающуюся на части голову.

Провалился так неведомо сколько. Потом наконец разлепил спёкшиеся веки. Разлепить-то разлепил, но к зрачкам жизнь вернулась не сразу. Сжав раскалывающуюся голову обеими руками, мутным взглядом обвёл комнату. Глаза застилала серая пелена. Пошарив руками вокруг, ты обнаружил, что, неизвестно почему, валяешься на полу, прямо на холодных досках, без подушки и одеяла. Отчего это так, не понял. Как мог оказаться в таком состоянии? Стараясь уразуметь что-либо, попытался поднять голову. Но она была неподъёмно тяжёлой. И без того раскалывающийся череп, казалось, лопнет при малейшем напряжении. Постанывая, какое-то время лежал без движения. За-

тем, немного придя в себя, огляделся вокруг. Мутная пелена перед глазами будто слегка рассеялась. В комнате тарарам: всё опрокинуто, разбросано. Подушки валялись в одном месте, одеяло – в другом. Смутно припомнил, что в городе, по слухам, объявились квартирные воры. Неужели они и здесь побывали? Перевернули в доме всё вверх дном... А его, вероятно, оглушили и избили?

– Эй, кровопийца!

Неужели... те самые грабители? Но голос вроде знакомый...

– Вставай, кровопийца! Гляди!.. Ну, гляди, что сделал!

Да, голос знакомый. Не этот ли, подобный лаю злобной собачонки, визгливый, захлёбывающийся от ярости, неприятный женский голос стоял всю жизнь в твоих ушах? Постой!.. Кто же она была? Как, однако, раскалывается проклятая голова. Неужто кто-то из грабителей при сопротивлении ударил чем-то тяжёлым?.. Не проломили ли череп?

– Вставай, злодей!..

Визгливый женский голос едва не сорвался от злобы. Желая понять, кто же это, ты через силу размежил веки. Глянуть-то глянул, но свет будто померк в глазах. Как ни напрягал зрение, никак не мог узнать женщину, которая так яростно, словно готовая растерзать на месте, наскакивала на тебя. Но почему-то тебе казалось, что за нею, за её спиной, ещё кто-то стоит. Сварливый голос взвизгнул снова:

– Эй, вставай, Нар Кара...

Теперь ты узнал её. А узнав, отвёл глаза. К горлу некстати прихлынула горькая желчь. Не желая осрамиться перед старой хрычовкой, ты страшным усилием воли сдерживал подступившую тошноту. Да, тёща никогда не испытывала ни малейшего расположения к тебе. И дома, и на людях постоянно поддевала, высмеивала, унижала как только могла. И обзывала тебя по-всякому. Как только не изошрялась на твой счёт. «Нар Кара»... Но никогда прежде не называла кровопийцей. Нашла тоже кровопийцу. Знала бы старая хрычовка, что ты не способен не то чтобы человека зарезать, но отворачиваешься, не в состоянии вынести, когда при тебе разделяют трепыхающуюся живую рыбу.

– Эй, злодей...

«А это ещё что? Шутит... или всерьёз?»

Будто подтверждая, что всерьёз, старая хрычовка взвизгнула прямо в ухо:

– Вставай, тебе говорят. Смотри, что натворил.

«Что значит натворил? Что такого я сделал?»

– Эй, встанешь или нет?

Звонко шлёпнула пощёчина. Из глаз посыпались искры, но ты даже не шелохнулся. Так и сидел, бессильно свесив голову на грудь, что, видно, особенно взбесило тёщу. Костлявые пальцы старушечьей руки, только что отвесившей тебе пощёчину, проворно схватили ворот рубахи и, мгновенно собрав его в горсть, со всей силой зажали на горле, у самого кадыка, и ткнули тебя в подбородок снизу так сильно, что, лягнув зубами, голова твоя откинулась назад. Ты замер. Только теперь разглядел женщину, стоящую за спиной хрычовки. Вздрогнул, точно током ударило, тряхнул головой. Взглянул снова. Нет, не ошибся. Она... Да, она. Вид её ужасен. Волосы всклокочены. Одежда вся истерзана. А когда увидел чудом державшийся на её плечах изодранный халат, ты окаменел от ужаса.

– Ну, видал? Видал, злодей, что ты наделал? У-у, кровопийца!..

Да, ты всё видел. Но только сделал шаг к Бакизат, чтобы пасть к её ногам и просить прощения, как старая хрычовка вдруг завопила:

– Ойбай, беги! Беги! Убьёт!

Пропади пропадом проклятая эта собачья жизнь! Ты круто повернулся и, пошатываясь, вышел вон. И на следующий день был уже на том берегу

моря, у своих рыбаков. Ты думал, что Бакизат не простит. На этот раз наверняка разведётся. Но она этого не сделала. Может, причиной тому были дети. Как знать...

* * *

Ты пребывал в зыбком и странном, между сном и явью, состоянии, грозящем нарушить хрупкое равновесие. Вначале было лишь томительное ожидание, ощущение чего-то неотвратимого, грозного. Потом послышалась чья-то тяжёлая поступь, откуда-то издалека, глухо, точно из-под земли: хруп-хруп... туп-туп... Приближался некто медленно, но неумолимо. Приближался, пожирая гигантскими шагами раскалённую ярость песков, угрюмо сгорбленных увалов, выгоревших долин. Ты вслушивался в эти монотонные, гулкие шаги и чувствовал, как вместе с этим что-то тревожное забилося и в тебе самом. Вскоре нарастающий звук этого зловещего, неотвратимого «хруп-хруп... туп-туп» слился со стуком твоего сердца, и всё сразу смешалось. Ты ощущал лишь жуткую, давящую тесноту в груди, напрочь перехватившую твоё дыхание. И тут вдали, у самого горизонта, с каждым шагом всё более нарастая, заполняя собой всё видимое пространство, показался гигантский Сивый Вол – Кок-Огуз. Он надвигался всей непомерной громадной тушей, и солончаковая земля приморья под палящим солнцем стонала и вздрагивала от поступи его твёрдо-чужбных копыт...

Ты открыл глаза. В комнате чуть брезжила ночная сутемь. Зыбко растекался тусклый свет луны. Опять он... Кок-Огуз... Не сон, наваждение какое-то... Душевный сумбур последних лет не покидает даже во сне, не даёт передохнуть, настойчиво навязывает омерзительные видения в самые безмятежные и редкие минуты покоя.

Всё у тебя внутри сжималось. Ты покосился на соседнюю кровать. Пуста. В доме было тихо. Дети давно уснули. Только в доме напротив продолжалось шумное веселье. Вот кто-то хрипло запел, другой загоготал вдруг, ещё один не в меру разошёлся, и надо всем этим нестройным хмельным гулом то и дело взмывал чей-то бездумно счастливый смех.

Сон никак не шёл. Вспомнил совет знакомого врача. Сосчитать про себя несколько раз до ста и обратно... И только было погрузился в желанную дрему, как опять послышалось это зловещее – «хруп-хруп... туп-туп-туп...». Тьфу, дьявольщина! Ты, отшвырнув одеяло к ногам, сел. Как может присниться такое, о чем въявь никогда даже и не подумаешь? Тот зловеще размеренный, тяжкий, нарастающий топот во сне, от которого ты проснулся, всё ещё стоял в ушах. И ты потёр уши. Если и снились иной раз подобные сны, то всё-таки ты к ним успел привыкнуть, притерпелся. Но нынешний сон – это что-то иное... Он будто бы продолжался и сейчас, наяву. Ты совершенно ясно видел, что под ногами была вроде всё та же твердь и над нею всё тот же голубой небосвод. И хотя этот небосвод вроде оставался голубым, но что странно: утратив свою былую воздушность и прозрачность, стал вдруг тяжеловесным, будто обитый синей жестью. И гигантский Кок-Огуз, прежде появлявшийся из-за выжженных холмов, теперь почему-то спускался с западного небосклона. Спускался тяжёлой трусцой, выходя прямо из густоты зловещей черной тучи, свесил чудовищное рыло чуть не до самого моря.

Свиреп и мрачен Кок-Огуз. Глаза налиты кровью. Голова низко опущена. Могучее дыхание его горячим вихрем опаляет всё далеко вперёд, поднимая смятенные волны жара, вздымая пыль. И вот уже в одно мгновение затмила свет черная буря. Сивый Вол неукротимо нёсся под гулким жестяным небосводом, оглушал мир гремящим эхом чугунноскокающих копыт, всё ближе

и ближе к морю... Жестяной звон и грохот, отражённый небом, раскатывался всесветным «данг-гурр, данг-гурр...». И когда ты в ужасе очнулся, этот грохот, раскатисто обвалившийся с высоты, ещё долго звучал в ушах. Сердце бешено стучало, и, казалось, вся стеклянная посуда, какая была в доме, позванивала, дребезжала, отзываясь на отгрохотавший вселенский топот...

Ты зажимал сердце ладонью, стараясь смирить его беспорядочные удары. Медленно повёл вокруг глазами, глядя с сомнением, ибо всё вокруг было тебе чужим, подозрительным, словно предстало из какого-то другого, неизвестного мира. И снова рухнул на постель, зарылся лицом в подушку. Временами тебе удавалось забыть, но тотчас начинала бить внезапная нервная дрожь, и ты снова просыпался, измученный, и, ничего толком не сообщая, затравленно озирался вокруг...

Нет, видно, не суждено тебе сегодня уснуть. Голова раскалывалась. В глазах появилась резь. Да, что-то творится с тобою... что-то творится... И эти сны ещё... И начальство тоже, не только наяву, но и во сне стало изгаляться, точно козел при виде пса. Особенно изводили двое: не в меру прыткий, чёрный, как головёшка, уполномоченный, и сам Ягнячье Брюшко. Вот уж от кого пощады не жди. Стоишь в кошмарном оцепенении перед ними, виновато понурясь...

А на тебя с обеих сторон попеременно набрасываются то сам Ягнячье Брюшко, то его чёрный головёшка-уполномоченный: «Рыба?.. Где рыба?!» А тебе хочется крикнуть им в самую морду, чтобы услышали наконец: «Невдомёк вам, что ли, что море гибнет?..» Но язык почему-то не повинуется.

Между тем перевалило за полночь. Бакизат теперь вряд ли придёт. Если даже и придёт, не пуцу на порог, твёрдо решил про себя и больше в мыслях не возвращался к ней, словно напрочь изгнал её из души. Но то было наяву... А во сне... Во сне, видно, душа слабеет. И едва ты смежил веки, уснув, как снова наплыли видения. На соседней кровати рядом с тобой спала женщина. Не просто женщина, а твоя собственная жена. В залитой лунным светом комнате, как тебе казалось, ты отчётливо видел её, даже слышал ровное и спокойное дыхание притомившейся жены. Тебе вроде бы известно, что она весь вечер танцевала лишь с гостем из столицы, но ты не испытываешь при этом ни малейшей ревности. Только закралось в душу некое сомнение, которое не давало тебе покоя. И, чтобы разувериться в том, ты внимательно всматривался, не в беспорядке ли её обычно хорошо уложенные волосы? Но что за чертовщина: замороженный взгляд твой притягивает, снова и снова отвлекая на себя, трепещущий лунный лучик. Он как живой, исполненный трогательного ночного таинства, скользнул ниже её подбородка, сместился на белеющую шею жены. Ты почувствовал, как кругом пошла голова и накатил вдруг томительный зов желания. Хотелось вскочить, броситься к ней, позабыв обо всём, слепо, безумно отдать себя всего, охватить и прильнуть, но ты почему-то не в силах даже шелухнуться, будто весь, по рукам и ногам, накрепко привязан к кровати. Бессилие это пугало, ты пытался вырваться из невидимых пут, но тщетно...

Тогда хотел было позвать её, но не мог издать ни звука, потому что голос напрочь отказал тебе... Но она, будто услышав твой немой призыв, подняла голову и спокойно сказала: «Бакизат ещё не вернулась». Ты взгляделся и потом быстро зажмурил глаза. Женщина, которая так страстно влекла, оказалась вовсе не Бакизат... а той девушкой, которая в своём неизменном красном платочке сидит у тебя в приёмной конторы. Ты проснулся и долго не мог прийти в себя. Приснится же такое. И что это могло значить? Неспроста... Помилуй Бог!..

Глаза вроде смыкались, но уснуть не мог. Интересно, скоро ли утро? Если уже светает, надо бы встать и пойти в контору: должно быть, за это время, что

ты находился в устье Сырдарьи, накопилось немало деловых бумаг. Ты чуял сердцем, что после отъезда из аула двадцати пяти семей рыбаков желающих уехать не убавилось. Неспроста заходил вчера старик-адаец.

Ладно, о сне думать уже не приходится. Какой может быть сон, если мерещится чёрт-те что? На самом деле, после тринадцати лет супружеской жизни ты не можешь утверждать, что в достаточной мере понял свою жену наяву, что уж говорить о снах... Она, как в жизни, так и в этих снах, ускользала куда-то – в зыбком мерцающем свете луны, оставаясь по-прежнему неуловимой и неразгаданной до конца. Но тебя особенно поразила приснившаяся девушка-секретарша. Знать, какую-то притягательную силу обрела она над тобой, всегда такая скромная, робеющая. Как преобразилась она вдруг в твоём сне и как осмелела в своём призыве. И тут что-то скрипнуло в доме, отчего ты насторожился, затаил дыхание. Однако скрип, сколько ни вслушивался, не повторился. Ты поднял голову: дверь в комнату была приоткрыта... Может, кто-то притаился за нею? Как заворожённый смотрел на дверь. Смотрел долго и напряженно, не мигая, словно боясь упустить что-то очень для себя важное. Вдруг подумалось, может быть, та самая девушка, секретарша?.. Ты знал, что для неё переступить не то что порог твоего дома, но даже войти в кабинет мука мученическая. Представил, как она добралась на цыпочках до дверей, едва уняв дрожь, потянула было за ручку и, когда дверь, подавшись, скрипнула, в испуге отпрянула назад. И стоит теперь, замерев, за дверью. И если сам не окликнешь, убежит, уйдёт... «Подожди!» – чуть не вырвалось у тебя...

Ты откинулся на подушку. Что только не лезет бессонными ночами в голову! С чего, спрашивается, так размечтался о бедной девушке? И почему тебе доставляет какое-то странное, неизъяснимое удовольствие думать о ней? Даже глаз не хочется отрывать от двери: исчезнет вдруг, улечучится очарование самой мысли о ней... Что это? Уж не сон ли виноват в том, как неудержимо влекло тебя к ней? Или всё ещё не прошла та полная всяких соблазнов пора, и тут прав баловень-поэт, сказавший некогда: «Под боком спит законная жена, а мысль уводит пыльные красотки?» Положим, та горячая пора у одного мужчины проходит раньше, у другого позже. Но ты-то разве относишься к тем, у которых, как говорится, седина в бороду, а бес в ребро?.. И прежде так же, бывало, глаз не смыкал, лёжа рядом с безмятежно спавшей женой. Только причина тех бессонниц была в другом. Ты думал, несчастный, о мелеющем из года в год море, о разбредшемся наполовину ауле и снова – о рыбе, о проклятом плане, но уж никак не о плотских утехах. Тогда что же, выходит, вместо прежнего, угасающего чувства нарождается какое-то неведомое, неосознанное ещё, новое чувство? Так ли?

Неужели то неотвратимо меркнувшее в положенный срок чувство, бывлые корни которого ещё не успели отмереть, сейчас распускает новые юные побеги? Неужто так бывает?.. «Видно, бывает, – подумал ты. – Бывает. Ну, так пусть! Уж если не миновать этой поры и тебе, то пусть будет так, как грезились некогда на постылом супружеском ложе тому баловню-поэту».

Встал ты, немного погодя, совершенно разбитым. Пока вместе с матерью в тягостном молчании пил чай, в окне серебрился долгий зимний рассвет.

* * *

Из дома Заики ты ушёл в этот день с тяжёлым чувством... Вообще-то, у тебя и в мыслях не было ходить туда. Настояла мать. «Вместе росли. Неразлучными были. Не упрямясь, сынок, сходи!» Послушался. Сходил. Ну, что из этого получилось? Ну, поговорили. И выяснилось: совершенно чужие... Взаимная неприязнь отнюдь не развеялась. Наоборот, сердца только ожесточились.

Когда ты вошёл, дядюшка Азима в прихожей расставлял в ряд обувь. Должно быть, твоего прихода здесь не ожидали. Он ошалело вскочил и, не зная, куда сунуть оказавшиеся в руках галоши, застыл, тараща на тебя свои круглые совиные глаза. Потом кое-как пришёл в себя и заплетающимся языком сбивчиво забормотал:

– Вот, говорю... Хорошо, говорю, что пришёл, говорю.

Гость из столицы стоял перед зеркалом, протирал лосьоном только что побритое холеное лицо. Увидев тебя в зеркале, протянул:

– А-а-а!.. Дружище, входи! – и не спеша пошёл навстречу, протягивая обе руки, намереваясь, как в былые времена, заключить тебя в объятия. Однако, подойдя к тебе, отчего-то вдруг раздумав, лишь слегка пожал кончики твоих пальцев и тут же отпустил.

– С приездом, значит?

– Наш Азимжан, говорю, свой аул не забывает, говорю. На этот раз вовсе, говорю...

– Хорошо, что сейчас приехал. А то через год-другой застал бы здесь одни опустевшие дома.

– Ой, беда, говорю. Что с народом делается, не пойму, говорю. Дай Аллах, говорю, чтобы добром всё кончилось, говорю...

Совиноголазый зайка вдруг запнулся и, подобрав полы чапана, сел на стул. Сидел точь-в-точь как та лупоглазая птица в зоопарке, что слепо уставляется при дневном свете в пустое пространство.

Азим держался равнодушно, будто разговор не имел к нему никакого отношения. Ты, как вошёл в дом, сразу же, помимо своей воли, покосился на белые шёлковые занавески на окнах гостиной...

– Хорошо, ч-то при-ехал, – ты невольно запнулся, почувствовав, как странная дрожь, идущая откуда-то изнутри, передалась твоему голосу. – Земляки твои в отчаянии, родные места покидают.

– Гляжу, нервы у тебя сдают. В молодые годы ты был куда как спокойнее.

– Поживи среди нас, посмотрю я на тебя, – досадую на свою слишком явную горячность, примирительно сказал ты. Но и при этом внимание твоё, помимо твоей воли, всё больше притягивали мозолящие глаза проклятые шёлковые занавески.

– Да, трудно стало, говорю. Все рушится к шайтану, говорю, – сказал Зайка-Быдык.

– Ну ладно, скажи, сам-то как живёшь? – неожиданно спокойно спросил Азим. И лицо его стало приветливым, добрым. – Давай, садись, – он указал на стул. Видя, однако, что ты заупрямился, рассмеялся, взял тебя под локоть, усадил. Потом придвинул другой стул, сел рядом, положив руку на твоё плечо. Ты отстранился было, но Азим, как это бывало в ваши молодые годы, по-свойски притянул к себе: – Фу ты, черт... тебя и не обхватишь.

И эти слова, и прежний знакомый жест напомнили тебе то далёкое и невозвратное, отчего у тебя на мгновение даже сердце дрогнуло.

– Да-а! И ты, брат, стареешь, – сказал Азим, коснувшись кончиками пальцев твоего виска.

Между тем ты всё взглядывал на окна, на эти назойливо лезущие в глаза треклятые шёлковые занавески. Может, то была тётца? Ведь она, никак не желая смиряться со старостью, тщательно укладывала волосы как в молодые годы.

– Как мать?

– Слава Богу...

– Жаль, очень спешу. Но всё равно забегу к ней на минутку.

– Дай только заранее знать. Барашка зарежем.

Азим рассмеялся.

– Казах из тебя так и прёт. Тебе, наверное, неизвестно, дружище, что в наше время европейцы встречают гостя только чашкой кофе.

Ты не сразу нашёлся что ответить: удивили не сами слова, не тон, каким они сказаны, а тот холодно-насмешливый взгляд, брошенный на тебя сбоку, как бы вскользь... В этом взгляде почудилось что-то знакомое. Точно такой взгляд ты где-то видел? И кто был тот человек, который имел обыкновение как бы пригвоздить на месте таким вот холодно-насмешливым взглядом незадачливого собеседника?

– У каждого народа свои обычаи, – буркнул ты.

– Сказал! Какой прок нынешним казахам от твоих дедовских чапанов и лошадок?

– Не знаю, как насчёт чапанов, но что касается лошадок, то нынче ты сам, кажется, приехал на них, – усмехнувшись, покосился на него...

Вот дьявол! Как умеет, однако, владеть собой! Уходя от неприятного разговора, пересел к другому столу и, словно накинув на лицо непроницаемую маску, уставился в страницы какой-то раскрытой книжки на столе.

– Читал твою статью, – произнес ты сдержанно.

Азим не отрывал взгляда от книги. Заика-дядя, будто филин перед взлётом, встрепенулся на стуле, дёрнулся:

– Ойбай, не говори!.. Все, все, говорю, читали. Азимжан хочет победить природу, говорю... Посеять хлопок, говорю... Построить город, говорю... А народу, говорю... всё равно не угодишь, говорю...

– Ладно, дядя. Скажи там, пусть приготовят чай!

– Нет, не надо беспокоиться. Я ненадолго. Ухожу. Дело, – сказал ты, не спуская, однако, глаз с Азима. Видел, как ему не хочется говорить о его статье, которую вы нынешним летом читали в устье Амударьи, в брезентовой палатке с рыбаками, статью, в которой он, полемизируя с Муканом Баубеком-улы, убеждённо писал о том, что «при сегодняшнем расцвете Эн-Тэ-Эр нет никакой пользы от Аральского моря, только вред».

Помнится, ты в ту ночь не мог уснуть. Тебе стало вдруг не по себе от мысли, что Азим не один такой. Сколько ныне развелось в мире этих ретивых преобразователей природы! Друг другу поддакивая, будто соревнуясь, бессовестным и наглым образом призывают поворачивать вспять реки, осушать озера, вырубать леса, вгрызаться тысячами мощных буров в земную твердь. Вот так, из поколения в поколение, рвут стальными клыками, взрывают динамитом, долбят, вспарывают и переворачивают, не оставляя живого места на этом, в сущности, маленьком и таком же живом, как и они сами, голубом шарике. О Боже! Ну чем отличается в таком случае прожорливое людское племя от обыкновенных червей, которые так же, забравшись в мякоть созревшего плода на дереве, сосут, сосут... сосут до тех пор, пока не высосут все соки из него, оставив одну сморщенную жалкую кожицу.

– Ты о чём задумался? – спросил Азим, удивлённо глядя на тебя.

– Знаешь, в прошлом году я был в Алма-Ате. Как-то случайно попал на одно ваше собрание. Крепко вы там схлестнулись.

– Видел. Думал, подойдёшь после собрания...

– Не хотел беспокоить. У тебя и без меня хлопот хватало. Так вот, на том вашем собрании выступали один за другим двое молодых...

– Да ну их! Мы перед этим только завалили диссертацию Тыквоголово-му... Тебе, надо полагать, его выступление понравилось?

– Да. Видно, Бог дал ему светлую голову и горячее сердце. А ты небось считаешь его «горлодёром»?.. Помнишь, как он хорошо сказал: «Быть или не быть человеку на земле, зависит от того, будет ли сохранена природа...»

– Ну-ну!.. Можно подумать, кто-то посягает на природу!

– Тем не менее такие безумцы существуют...

Азим, не меняя позы, бросил на тебя испытующий взгляд.

– Не мешало бы тебе знать: природа – не музейный экспонат. Она должна работать на повседневность. И ещё... – начал было Азим, но ты перебил его.

– Повседневность! По-моему, кто искренне желает добра своему народу должен... обязан и о завтрашнем дне заботиться... Занимая в обществе высокое положение, ты мог бы родному краю быть опорой и защитой. А ты вместо этого...

– Эй! Не болтай, говорю... Азимжан, говорю, со временем нас осчастливит, говорю!

– Дядя, подожди! Видишь ведь, у него накипело. Пусть говорит.

– И скажу.

Азим и его совиноголазый дядя были удивлены, даже поражены тем, что ты, обычно покладистый и уравновешенный, вдруг так резко переменялся и, возбуждённый, неожиданно вскочил с места, встал перед Азимом. Лицо твоё горело, в висках словно молот стучал.

– То, что ты делаешь по отношению к Аралу, к земле наших предков, иначе как... ка-а-к...

– Ну, договаривай!

– И если и впрямь существует Бог на небесах... если у природы есть дух-покровитель, то тебе отольются солёные слёзы Арала!..

Азим расхохотался... Отсмеявшись, вытер глаза полотенцем, которое было перекинуто через его плечо.

– Ох, и рассмешил! Ладно, не петушись. Вам сейчас недоступны мои мысли об Арале, но я уверен – придёт время, когда мои земляки поставят мне памятник!

Теперь уже зло рассмеялся и ты:

– Тебе?.. Памятник?.. Из мрамора? На дне высохшего моря? За то, что ты олицетворяешь всё современное зло? Ты и есть чудовище Кок-Огуз, водохлёб Сивый Вол.

– Эй, слушай! Ты, говорю, язык свой н-не распускай, говорю. Азимжан, говорю, государственный человек, говорю. За такие слова, говорю, тебе придётся...

Ты усмехнулся. Смотри, как весь исходит злобой, брызжет слюной... А почему и впрямь не стать ему председателем? Подобные нынче ворочают и не такими делами. Народ поворчит-побурчит сначала, а затем, по обыкновению, свыкнется, примирится. И этот заика, небось, тоже не оплошает. Соберёт колхозников в клуб да как начнёт слюной брызгать: «Вы, говорю, совсем от рук отбились, говорю. Бога не бойтесь, говорю. План... план давайте, го-говорю!.. Рыба?.. Где рыба, говорю!» – и будьте уверены: самые строптивые перед ним шёлковыми станут...

– Эй!.. Эй, баскарма... Ты, это, чего дыбишься, говорю?

Азим медленно встал.

– Кажется, ты всё сказал. Теперь небось доволен?

– Нет. Я ещё не всё сказал...

Ты глядел на Азима, который по-прежнему, выказывая явное пренебрежение, стоял, повернувшись спиной к тебе: «Апырай, – думал ты, – где я видел человека точно такого же, как он?» Он тоже величаво поднимался с места. Он

тоже смотрел на собеседника свысока, искоса, слова ронял скупно. Даже и голос у того, помнится, был такой же, как у этого, – бархатно-тягучий, басовитый, полный сановного достоинства. Казалось, не говорил, а делал одолжение. Да, ты видел кого-то такого...

– Что же... Продолжай!

Говорить в спину человеку ты не желал, и потому, недолго думая, решительно зашёл спереди. Близко заглянул ему в глаза:

– Всю эту возню затеял ты вместе с Бабаевым.

– Кто?

– По-моему, он твой глубоко почитаемый наставник.

– Ха-ха! Скорее я сам подобным академикам гожусь в наставники...

– Извини, не знал...

– Я был уверен, что ты читаешь одни только священные книги... Как вижу, ты и учёными трудами занимаешься?

«Кто мог ему об этом сказать? Не... она ли?» – пронзила тебя вдруг мысль. И скулы, и уши твои мгновенно схватились жаром. Азим с опаской посмотрел на твоё неузнаваемо искажившееся лицо.

– Спокойно, батыр. Ну, не кипятись... – Азим хотел усадить тебя на стул, но ты резко оттолкнул его руку. – Мы, учёные, тоже думаем. Пойми, для замкнутого моря, каким является Арал, нет будущего. Ради сохранения бесполезного водоёма посреди пустыни мы не можем лишать воды двух рек жителей пяти... понимаешь, целых пяти республик!

– Значит, для того чтобы осчастливить людей, нужно, по-вашему, непременно уничтожить море?

– Такова логика истории. Численность населения на Земле растёт бурно. И всем нынче ясно, что такое количество народа мы просто не прокормим дедовским способом хозяйствования. Нужны кардинальные меры. Даже в лучшие времена Аральское море не давало более шестисот тысяч центнеров рыбы. А что это для населения, которое имеет реальные шансы уже завтра увеличиться в два, а то и в три раза? Сам подумай! И дело даже не в том, как прокормить людей. Надо их всех ещё и трудоустроить! Вот в чём проблема, вот почему мы предлагаем самый эффективный и прогрессивный выход: выращивать на освобождённой от моря плодородной земле...

– Вы что... с ума посходили все? Вы там будете добывать только соль, понимаешь, соль, а не хлопок растить!..

– Ну, мы полагаем...

– Так вот, – перебил ты его, – если бы вы с академиком Бабаевым и в самом деле заботились о народе, беспокоились о будущем, вы бы не стали замахиваться на его настоящее. Вы за природу взялись, а народ – это ведь тоже часть природы.

Азим бросил на тебя резкий косой взгляд. Хмыкнув, подумал про себя, наверное: уж не науськали ли этого недотёпу враги, которые там, в столице, не дают ему, Азиму, проходить? Ишь ты, прямо дословно повторяет их.

– Разумеется, служить следует и завтрашнему дню, н-но... – Нажимая на это «н-но», Азим выдержал паузу и заметил, как вспыхнул в твоих глазах затаённый гнев. «Неужели этот остопоп в самом деле думает, что в обмелении моря виноват я?» – Уверю тебя, будущие поколения не захотят жить по-старинке. Не пожелают... не станут тянуть сети и гоняться за чебаками. Им подавай что-то посерьёзнее. Посущественнее. Другая у них будет жизнь. Им будут чужды такие понятия, как старинный промысел, дедовские обычаи и тому подобные сантименты.

– Вот как?

– Да, так. Я вижу, что ты сердцем болеешь за народ. Это хорошо. Но твоя беда, как мне кажется, в том... да, в том, что, окончив институт... – и тут Азим улыбнулся, молча смотрел на тебя, думая, говорить или не говорить, и, видимо, решив наконец, что не стоит, отвернулся и начал шарить в карманах брюк, потом в боковом кармане пиджака, висевшего на спинке стула. Не спеша достал изящную вересковую трубку, извлёк табакерку, потом, всё так же не торопясь, стал набивать трубку волокнами душистого гаванского табака. И, продолжая стоять к тебе спиной, сказал: – Ты, окончив институт, женился, как в той песне, на «девушке своей мечть». Это было для тебя верхом счастья. И, достигнув своего счастья, укатил в свой аул. И в этой дыре твой кругозор, прости... ну, что ещё мне сказать? Дальше известное дело, хе-хе...

И тут только повернулся к тебе. Хотя с лица у него не сходила насмешливо-сниходятельная улыбка, но глаза, искоса смотревшие на тебя, оставались холодными. Ты с ужасом почувствовал, как руки твои невольно сжимаются в кулаки и непроизвольно дрожат. Боясь, что Азим вдруг заметит, поспешно сунул их в карманы.

– Кто-кто, а ты должен понимать, что предки нам не оставили ни золота, ни городов. Нам оставили только предания, заветы свои да море. А мы с тобой что оставим после себя нашим потомкам? Огромную котловину, над которой днём и ночью будет суховой проноситься да солевые бури поднимать?

– Ты, я вижу, ни черта не понимаешь.

– Нет, мы тоже кое-что понимаем. Понимаем, что значит в степи вода! У воды всё находит пристанище: и люди, и звери, и мы с тобой! Ну подумай, – оставим после себя выжженную дотла солончаковую пустыню, что птицам крылья опаляет, а зверю ноги жжёт... И ты хочешь, чтобы тебе ставили памятники?

– Ох, и мастер ты нагнетать страсти! Прямо конец света... А теперь спокойно выслушай меня... По нашим предположениям, если хочешь знать, на Аральской низменности, как она будет называться, наподобие Туранской, наши потомки добьются мировых рекордов по урожайности хлопка. Вот так!

– Ладно, скажи, когда всё это наступит?

– Точно определить невозможно...

– Ну, а если хотя бы неточно? Пять, восемь, ну пятнадцать, наконец, лет?

– Если приблизительно, то эдак... через двадцать... нет, через тридцать. Это, пожалуй, реальной.

– Надо же, а? Всё высчитали. И, говоришь, реально?

– Абсолютно! Могу хоть поклясться! – с нажимом, стараясь придать больше убедительности своим словам, проговорил Азим. Однако глаза его были спокойны и явно избегали твоего взгляда.

– Ах, бессмертный Ходжа Насреддин, – ты расхохотался, – ах, мудрый Ходжа!

Азим подобрался весь, настороженно-неприятный.

– Ты должен знать, хан, говорят, от скуки позвал к себе Ходжу Насреддина и спросил: «Мог бы ты обучить моего ишака грамоте?» Ходжа не задумываясь ответил: «Конечно, могу, мой повелитель...» Ну, знаешь эту историю?

– Допустим, знаю. Так что из этого?

– А ничего. Хан, говорят, грозно предупредил: «Если не сумеешь обучить моего ишака грамоте, велю отрубить тебе голову». Ходжа, сложив руки на груди, поклонился: «Воля твоя, мой повелитель. Только дай мне сроку тридцать лет...» И хан согласился... Тоже тридцать лет, чуешь? Друзья и родные Ходжи, узнав об этом, всполошились: «Ты что, спятил? Где это видано, чтобы ишака грамоте учить? Безумец ты. Головы лишишься!» А Ходжа Насреддин, говорят,

зевнул и преспокойно ответил: «Не волнуйтесь, друзья. Через тридцать лет или хан умрет, или я умру, или ишак подохнет...»

– Да, смешно, говорю... Ходжа Насреддин хитрый, говорю.

– Хватит! Перестань! – Азим, весь перекошенный, люто глянул на дядю-заику. Тот поперхнулся смехом и затих. Потом Азим метнул на тебя косою взгляд. – Понял твой намёк... Ну, бывай здоров...

Будто между вами ничего не произошло, взял тебя под руку и проводил до двери. Холодный ветер прохватил тебя сразу. Ты, поспешно застёгивая пуговицы, опять отвлёкся, стараясь припомнить человека, у которого подсмотрел и запомнил эти чертовски барские замашки и горделивую спесь. Ты был потрясён, даже восхищён, как этот черт с поразительной точностью повторяет манеры и повадки того человека, которого ты сейчас никак не можешь вспомнить. Азим повторял его во всё, вплоть до того, как скашивает холодный взгляд и говорит, как тот, растягивая слова, с ленцой, роняя их неохотно. Да и вообще держит себя со всеми, в том числе и со вчерашними друзьями, с отстраняющим холодком, везде и всюду проводя незримую, но ощутимую границу между собой и остальными.

«Где-то я видел. Но где?» – думал ты на ходу – и вдруг резко остановился. Оглянулся вокруг. Вот те раз... Оказывается, давно прошёл мимо конторы и теперь стоял в поле, рядом с верблюдом, укрытым попоной. Увидев долгового человека, растерянно озиравшегося по сторонам, верблюд обернулся к нему и в недоумении перестал жевать только что сорванный пучок промёрзшей сухой травы...

Ты пошёл по своим следам назад. Вошёл в контору. Тяжело опустился в кресло, закрыл глаза и устало откинулся на спинку стула и тут... стукнул кулаком по столу и рассмеялся:

– Ах, дьявол! Надо же, а?!

Все пять лет учёбы в институте Азим жил у своего дяди, начальника крупного строительного треста. Будучи студентом, ты два раза приходил с Азимом в этот дом. Помнится, когда впервые вслед за другом вошёл в комнату, дядя его сидел в кресле и читал газету. Прошло какое-то время, прежде чем медленно, поверх газеты он скосил ленивый взгляд на долгового незнакомого парня. Стало не по себе, когда взгляд прославленного строителя почему-то остановился не столько на тебе, сколько на твоих торчащих из куцых штанин мосластых ногах... Вспомнил также, как говорил дядя – врасстяжку, постанывая, будто с усилием выдавливая из себя слова. Смелся скупно, бесстрастно, лишь по крайней необходимости, роняя отрывистые «кха-ха-ха», не смеялся даже, а сыто отпыхивался... «Бо-ольшой же ты артист, братец Азим! Только мало кто об этом догадывается...» – усмехнулся ты и тут же, словно освободившись враз от какой-то заботы, снова стал думать о прежнем, о его неожиданном приезде, озадачившем многих в ауле.

Ну, допустим, опасения Сары Шаи – сущий бред, но тогда с какой стати понадобилось ему ни с того ни сего мчаться в аул зимой, в канун Нового года? Тут, конечно, есть какая-то загадка. И до этого Азим приезжал в родной аул, но это бывало всегда весной, когда вся степь Приаралья благоухала. И он всегда заблаговременно предупреждал о своём приезде район. А район, со своей стороны, не замедлял передать, кому следует, весть о дне прибытия знаменитого земляка. И в ауле в день приезда царило необычайное оживление. И стар и млад с утра не находили себе места. Если гость прибывал особым рейсом по воздуху, то за ним по суше, по-над берегом, следовал эскорт легковых машин. Однажды произошло и вовсе невероятное: к изумлению и восторгу аульчан, в их залив вошёл красивый белый пароход и все три дня, пока Азим гостил у

земляков, простоял на якоре. Старики, гордые и восхищённые, качали головами: «Пай-пай! Да не угаснут его слава и могущество!..»

Так что же теперь стало с ним? Ты в недоумении поднялся, зашагал по нетопленому кабинету – и вдруг замер на середине, под лампочкой на потолке, будто споткнулся. Голова трещала. Кто-то входил, кто-то выходил, а ты был словно невменяем. Ни на чем не мог сосредоточиться. Даже привычно выслушивая посетителей, сам того не замечая, время от времени возвращался к мучившим тебя мыслям. Где Бакизат? Где она была сегодня ночью? Это не давало тебе покоя. Подозрения, одно за другим, занозой вонзались в сердце. Глаза растерянно блуждали по нетопленному с утра холодному кабинету.

Видно, от беды, что вошла в твой дом, не так-то просто избавиться.

* * *

Вот и встретился с другом детства. Ты совсем не предполагал, что увидишь его на родине в эту печальную пору, когда на дворе уже зима, когда выпал снег первенец и начало замерзать всё ещё непокорное море. Встретились, вроде как поговорили, поспорили. А вот сумели переубедить друг друга? Кто же из вас всё-таки прав? И в чём она, правда?

* * *

В тот вечер ты допоздна оставался в своём кабинете, не шёл домой. О том, что прошлую ночь Бакизат с матерью провели в доме совиногозого заики, ты уже знал. Весть эту выложил прибежавший Сары Шая, ещё более переполошенный, чем обычно.

– А знаешь... они затаились. Общее собрание, как мы предполагали, не проведут... Не посмели, значит, хи-хи. Видно, лезть на скандал у всех на виду побаиваются. Кто знает, может, эта хитрая бестия, привыкшая всё делать чужими руками, на сей раз ждет кого-то из района.

Сары Шая, сказав так, испытующе посмотрел на тебя, мрачно громоздившегося в глубине промозглого кабинета. В его немигающих жёлтых глазах застыл всё тот же нетерпеливый вопрос: «Ну, что на это скажешь?» И, поняв, что от тебя сейчас ничего добьёшься, он махнул рукой:

– Что ж, поживём – увидим.

Ты ждал, что теперь-то он сгинет с глаз. И действительно, Сары Шая встал, даже дошёл до двери, но тут замешкался. И снова вернулся:

– Знаешь, хи-хи... только что кого... хи-хи-и... встретил?..

– Кого?

– Азима. Поздоровались... Вежливый такой...

– Ладно, иди!

Оставшись один, ты сидел долго. Рабочий день уже кончился. Вдруг дверь скрипнула, чуть приоткрылась, и, как всегда робко заглянула секретарша. Не успел ты поднять голову, как она тут же закрыла дверь. С тех пор как ты вернулся с Сырдарьи, эта девушка стала чаще обычного входить к тебе. И каждый раз, неслышно переступив порог, прижав к груди какую-нибудь папку, она несмело и в то же время с детским ожиданием, распахнув глаза, взглядывала быстро и чутко туда, где в глубине кабинета сутулился мужчина, сведя брови над усталыми глазами, положив на стол большие руки. В этом хрупком, казалось, таком неприспособленном для равнодушно-грубой жизни существе ты неизъяснимым образом угадывал сочувствие, недетскую готовность понять, помочь, если надо, – взвалить на себя тяготы и несуразности твоего существования. Казалось бы, не встречал такого прежде никогда, ни в ком, в женщине тем более. Кроме своей матери. Неспроста, видно, она приснилась тебе. И весь день этот взгляд, полный доверчивости и заботы, был с тобой.

Да, вот то новое, что появилось в ней, – доверчивость! И ты, вдруг потрясённый, понял впервые, что, значит, и по тебе в этом несуразном мире может тосковать чья-то душа, и к тебе кто-то всем сердцем тянется, думает и не забывает... И ты, казалось бы, зрелый, сильный мужчина, изрядно битый жизнью и вроде уже притерпевшийся к ней, как никогда, – ты нуждаешься сейчас в сочувствии, в сострадании и помощи этой девочки и, сам того не осознавая, тянешься отогреть свою иззябшую душу у её бесхитростного, может, единственного для тебя на всём белом свете чистого огня...

Скрипнула дверь. Кто? Кто бы это мог быть? Не поднимая головы, сидя по-прежнему всё с тем же поникшим видом, ты прислушался к звукам, доносившимся из-за двери. Ты знал, что это не секретарша. Кто бы ни был, но ступает по деревянному полу, энергично стуча каблуками. Дойдя до двери, шаги вдруг затихли. Остановились, словно не решаясь двинуться ни вперёд, ни назад. Кто это? Кто в такое позднее время мог пожаловать в контору?

Решительно открыли дверь... Это было так неожиданно, что ты глазам не поверил, замер. Чётко отбивая дробь каблуками импортных сапожек, она подошла и близко, прямо заглянула тебе в глаза...

– Жадигер!..

Голос её дрогнул. И весь вид её, несмотря на решительность движений, поразил тебя. Она была растеряна, даже, как тебе показалось, подавлена, словно молча взывала о помощи, хотела и не смела сказать: «Если ты не сможешь, мне не преодолеть эту пропасть между нами. Ты видишь, видишь же, сама я не в силах...» И ты вскочил. Бросился навстречу бессильной её мольбе и, схватив её руки, почувствовал, как они дрожат, но не понял в тот миг, чьи руки сильнее дрожали...

– Бати-иш... – прохрипел ты, не справляясь с голосом. – Как хорошо, что ты пришла! А то я и не знал... и... и... не знаю, как мне быть...

Бакизат быстро высвободила руки. И только тут ты увидел, что она по-прежнему холодна. Она уже переборола минутную слабость, лицо её обрело привычную отчуждённость. Взгляд отвердел.

– Батиш, милая... Давай забудем все недоразумения. Не будем больше терзать друг друга, мучить. Провались оно всё!.. Знаешь, как устал я. Хочется пожить... Понимаешь, просто по-людски пожить...

– Раньше надо было об этом думать.

– И теперь не поздно, Батиш...

– Поздно!

– Как это поздно?

– А вот так! Я всё обдумала... И приняла решение...

В голове у тебя шумело. Ты видел, как сильно побледнело лицо Бакизат. Отчётливо слышал каждое произнесённое ею слово. Но всё это казалось тебе не явью, а одним из страшных снов, которые так часто томили тебя в последнее время. И словно для того, чтобы подтвердить, что это не сон, а явь, Бакизат негромко, но внятно произнесла:

– Я ухожу от тебя.

В голове зашумело ещё сильнее. Ты хотел что-то сказать, но оцепенел, не находя слов. Ибо никак не мог вникнуть в смысл слов жены. Они никак не укладывались в твоей голове. Воротничок рубашки вдруг стальным обручем сдавил горло. И ты, задыхаясь, рванул ворот, оторвал с мясом две пуговицы.

– Ты слышишь? Ухожу от тебя.

Да, слышал. Отчётливо слышал каждое слово, однако никак ещё не доходили до сознания их смысл и значение. «Как? Как это – уходит?» – недоуменно думал ты.

– Сам виноват, – продолжала Бакизат. Но поскольку эти-то слова ты слышал всю жизнь, они не произвели на тебя впечатления. К тому же вовсе не хотелось препираться. Про себя решив, что, так и быть, возьмёшь, как всегда, всю вину на себя, ты молча стоял посреди кабинета, сутулый, большой, свесив ненужные руки, смотрел неуверенно, словно не узнавал жену.

Бакизат занервничала. Метнулась было уйти, но какая-то сила удержала, остановила её. И она, поняв, что ничего не дождётся от тебя, всплила:

– Ох уж этот собачий твой характер!.. Почему молчишь?

– Да так. Будь счастлива.

– Это что, насмешка?!

– Нет, зачем... Мое пожелание.

– Сам виноват!

– Ну да, конечно... Только, знаешь... Впрочем, зачем теперь все эти слова...

Ни к чему...

– Нет, говори!

– К чему теперь упрекать друг друга?

– Нет уж, всё говори.

– Я к тому, что... Знаешь, у весов два конца. Если один конец я, то...

Бакизат досадливо дёрнула плечом:

– Вesy?! Какие ещё, к чёрту, весы?

– Ну да... Обыкновенные весы...

Она уже не могла скрыть своего раздражения:

– При чем тут твои дурацкие весы?.. Ты не понял меня? Я уйду от тебя...

– При том, что... знаешь, если одна сторона весов потянет вниз, другая должна подняться вверх. Этому ещё в школе учат.

– То, чему учат в школе, не всегда годится в жизни. У каждой семьи свои законы.

– И я о том же. С первого дня нашей совместной жизни... всё, что бы мы ни делали, все наши радости и горести, недоразумения и обиды – это всё, как говорится, перед людьми и Богом на весах...

– Проще говорить можешь?

– Ладно! Хватит...

– Так ты, что же, оправдываешь себя?

– Зачем? Считаю, я один виноват во всём.

– Ну, слава Богу, сам наконец понял! – мстительно сузив глаза, усмехнулась она. – Если бы не твой несносный характер...

– Да-да, – перебил ты её, – конечно... мы бы жили тогда, как голубки, воркуя и деля вдвоём одно зёрнышко.

Бакизат с удивлением глянула на тебя, морща лоб, тщетно силясь вникнуть в смысл твоих слов.

– Только не раз видел я, как эти самые милые голубки заклёвывают друг друга насмерть, не поделив зёрнышка... Наверное, и среди них попадаются такие... с несносным характером...

Бакизат всё равно не понимала, к чему ты клонишь. И потому, как всегда бывало, когда чего-то не могла понять, резко перебила, не дослушав:

– Да будь ты нормальным человеком, мы могли бы давным-давно...

– О да, жить, как все порядочные люди, в столице.

– А что, разве не так?

– Так.

– А как бедная моя мать старалась вывести тебя в люди...

– ...но дворняжка упорно забивалась в свою конуру.

– Хватит! Довольно! – На этот раз, видно, что-то дошло до неё. Бескровное лицо пошло пятнами. Полоснув тебя открыто враждебным взглядом, она решительно повернулась и стремительно уходила, почти убегала, вне себя от злости и раздражения.

Ты потащился к столу. Бессильно опустился на стул. Но тут опять распахнулась дверь. И на пороге вновь показалась Бакизат. Ты вскочил и бросился к ней. Тебя поразила, испугала смертельная бледность её враз осунувшегося лица. Она не поднимала глаз. Что-то приготовилась сказать, но не могла, то ли слова подбирала, то ли просто силы покинули её:

– Жа-ди-гер...

Ты с внезапной жалостью схватил было её руку, но она снова остановила тебя.

– Нам надо бы решить...

– Решить?! Что?..

– Сам знаешь... Это касается не только нас двоих. У нас ведь...

Только теперь сквозь муку подняла она на тебя взгляд, и озноб охватил тебя: глаза её точно пеплом взялись, застыли, в них вся боль, вся тоска женщины перед лицом судьбы. И ты понял её, всё понял.

– Дочка останется у моей мамы. Она ведь с пелёнок с ней. А вот мальчик...

– Ты о сыне?

– Да...

– Можешь не беспокоиться. Ему от нас с тобой проку куда меньше, чем от бабушки. Ну, прощай!

– Прости меня...

Она стояла, будто ногами приросла к полу. С усилием наконец повернулась, сделала несколько шагов и остановилась. Постояла, как бы собираясь с силами, – говорить больше не о чем. Наконец пошла. Пошла решительно. Без оглядки. Ты не шелухнулся.

Почувствовал вдруг странное желание закурить, затянуться, захлебнуться горьким, дерущим глаза и горло табачным дымом. Ты не испытывал сейчас ни обиды, ни злобы. Только теснило грудь от жалости к ней. Да, ты жалел её. Вон ведь, дожила до зрелых бабьих лет и пустилась теперь в погоню за зыбким, во все времена неверным и недостижимым счастьем, словно малое дитя за миражом. Да где оно, счастье? И может ли быть оно вообще, и найдёшь ли его, утетишь когда-нибудь душу, если так изболелась она и уже остались на ней незаживающие, неизбывные горестные зарубки?..

* * *

Вот и короткий зимний день клонится к вечеру. С неба, какой уже день хмурившегося, скупко падал редкий снежок. Всё настойчивей напоминал о себе голод. Ты вообще не мог сейчас припомнить, когда, где и что ел с тех пор, как вернулся с рыбаками с того берега моря. И вчера воротился домой поздно, когда все спали. Без скрипа открыл дверь, снял верхнюю одежду и на цыпочках неслышно пробрался в детскую. Прилёг на кроватку дочери. И вроде бы удалось на миг забыться сном. Только неудобно на крохотной кроватке. И, когда очнулся, быстро подобрал под себя свесившуюся на холодный пол ногу. Обледенелые пальцы на ней никак не могли отогреться, и ты тогда потёр ногу об ногу. Но и под одеялом чувствовался холод нетопленной, брошенной комнаты. Продолжая лежать съёжившись, думал о свалившихся на твою голову тяготах... А когда вспомнил о жене, сразу всплыли вчерашние её слова «ухожу от тебя». И уже сон как рукой сняло.

Ты поспешно встал. Раздвинул шторы. За двойными рамами только-только обозначился чахлый зимний рассвет. По привычке ты начал было торопли-

во одеваться. Надел рубаху. Натянул брюки... И тут осёкся. Куда спешить? Да, в самом деле. Сел на кровать. Взгляд бесцельно блуждал по открывшейся в сером утреннем свете комнатке. Ещё вчера здесь, у окна, стоял крохотный письменный стол. По вечерам за столом готовила уроки его маленькая дочурка. А вот тут стоял детский шкафчик. На стене, над крохотной кроваткой, висел небольшой коврик. До ниточки обобрала тёща не только дочкину комнату – весь дом, всё забрала, перевезла к себе. На голой стене теперь безобразно торчали одни ржавые гвозди.

По слухам, Бакизат и Азим уезжают сегодня. Твой бывший дружок, оказывается, очень спешит. Всё уже будто бы расписано по минутам... Сегодня намерены добраться в посёлок по ту сторону залива, где до недавнего времени был рыбозавод. Заночевав там, на следующий день ранним рейсом должны вылететь в Аральск. Что же, пусть убираются восвояси. И поскорее!.. Нет у него никакого желания видеть их. Домой он пришёл, поскольку деваться некуда. И живёт в полном неведении, что творится дома, что происходит за этими глухими стенами. И в каком состоянии сейчас его бедная матушка? Гордая, независимая, так много на своём веку пережившая, она, должно быть, вся помертвела, когда узнала про намерение снохи покинуть дом...

Ты, наспех одевшись, быстрее выбрался на улицу. Ночью, оказывается, выпал снег, и земля, вся запорошенная, промёрзла до звона. Побелели во дворах крыши домов и сараев. Залив, видимо, сковало льдом. Рыбаков, как и охотников, кормит утро. Случись это лет десять-пятнадцать назад, разве усидели бы они дома? О нет, увидев, что выпал снег и окреп мороз, поднялись бы чуть свет, высыпали на улицу. Из конюшни вывели бы коней и запрягли в сани. Поскрипывая на первом морозце полозьями, рыбаки на санях понеслись бы всюду, обгоняя другие упряжки, туда, к морю, в предвкушении первого подлёдного лова...

Перед тем как войти в контору, ты ещё раз окинул взглядом погруженный в сон аул. Где-то неподалёку подавала голос собака и тут же умолкла. Снова воцарилась тишина.

...Открылась дверь кабинета, не спеша входили, один за другим, какие-то люди в зимней толстой одежде. Ты не поднимал глаз, сидел, понуро свесив голову на грудь, и видел перед собой три пары ног, обутых в истоптанные рыбацкие сапоги. По обуви узнал человека, который стоял в середине, явно выделяясь среди двух напарников своими непомерно большими, обтёрханними сапогами.

– Ну, слушаю, жезде.

– Жадигержан, заботы покоя не дают. Вот, пришли.

– Садитесь, поговорим.

– Спасибо, дорогой. Вот пришли к тебе с бумажками.

Ты не дотронулся до их бумаг, ибо наперёд знал, что там написано. Эти трое к тебе и раньше приходили. В первый раз ты старался их утешить рассказками, в которые и сам плохо верил. «Потерпите, – говорил им тогда. – Может, всё ещё переменится. Наш кормилец Арал, говорят, мелел будто и до нас, во времена предков. Мелел, но вновь становился полноводным. Будем надеяться, что и на этот раз всё образуется». Старики расчувствовались, обрадовались: «Да сбудутся твои слова, дорогой! Доброе слово – половина удачи...» Потом, когда пришли во второй раз, ты опять кое-как нашёл слова утешения; «Поговаривают, будто к нам собираются повернуть сибирские реки».

Теперь же старики пришли в третий раз. Ну что на этот раз им скажешь? Если уж покинут эти трое насиженные дедовские места, то край наверняка лишится своей последней опоры.

– Ладно, жезде, рассмотрим ваши заявления. Подумаем.

– Хорошо, родной. Подумай. И дай нам ответ.

– Постараюсь не затягивать...

– Будь здоров, Жадигержан. Да минуют тебя все напасти!

Не успели уйти старики, как пронырнул в кабинет Сары Шаи, потный, заполошный.

– Жадигержан, родной!.. Зрачок ты мой! – почему-то с дрожью в голосе, запинаясь и бегая глазами, начал Сары Шая... «Что же ещё случилось!» – не успел подумать ты, как Сары Шая сам заговорил: – В этот тяжкий, решительный час нет для тебя во всём мире никого ближе и родней, чем я. Если уж на то пошло, я для тебя теперь и дядя, и старший брат, и даже... даже отец родной. Да-да, милый!..

Вид, однако, у «отца родного» какой-то неприятный: с рваным ухом голова, потная лысина... Огрызок уха, откушенного Упрямым Кошеном, стянув кожу вокруг, весь сморщился. И брови не брови, и ресницы не ресницы, какие-то бесцветные, жидкие волосики. А единственное уцелевшее ухо обращено вперёд, будто готовое ментально уловить любой звук.

– ...Да только ты, негодник, разве внимал когда-нибудь моим словам?! Разве поймёшь глубину моих истинных к тебе чувств?! Ты и слушаешь-то меня вполуха. А я ведь тебе говорил... Ох, сколько раз тебя предупреждал! И ведь чуяло моё сердце... Разве не говаривали предки: «Воды опасайся, а бабе – не верь»?! Баба – заклятый враг. Не спорю – она тебя ласкает в постели, греет, а отвёрнешься – тебе же пакость творит. Погибель батыра испокон веков от бабы. Вот и твоя... Ойбай! Ойбай, горе мне, горе!..

И Сары Шая запричитал, завыл вдруг, заколотил кулаками по потной голове, раскачиваясь и пристанывая. И тебе самому стало на миг не по себе... Как, однако, он точно рассчитал, что наступил самый удобный момент поиграть на твоём и без того уязвлённом самолюбии.

– Слышишь, мы не потерпим, не снесём такого позора! Где твоя мужская честь? Неужто тебе на всё наплевать? Очнись! Спозаранку обегал я весь аул, собрал всех наших. Верных людей. Всех сородичей. Привёл их сюда! Вон они, за дверью стоят. Выйди, возглавь нас! Увидишь, как постоим мы за честь рода!..

Ты обычно не придавал значения словам своего родственничка, пропускал их мимо ушей. Вот и сейчас, досадуя, не столько слушал, сколько смотрел на его жабий рот. Видел мелькающий, как жало, язык. Гнилые зубы. Видел всё более лютевшие, немигающие жёлтые глаза. Видел, наконец, дряблое, как старая сыромятина, всё лицо его – ни бороды, ни усов, голым-голо. И на миг показалось: перед тобой не человек, а то самое мерзкое существо, некогда прозванное поэтом тварью с лицом человека, а повадками скорпиона...

– Ну, вот что...

– Что, дорогой?

– Сгинь-ка с моих глаз!

– А? Что сказал?

– Сгинь! Чтоб глаза мои тебя не видели!

– Хе-хе... Ну, не-ет!

Он вовсе и не подумал куда-нибудь сгинуть, напротив, уселся, устраиваясь поудобней, закинул ногу на ногу. Немигающие кошачьи, жёлтые глаза ехидно поблёскивали.

– У, сэры шаян!.. Убирайся!

– Ну-ну!.. Народ прозвал меня Сары Шаёй, но никак не сэры шаян, скорпион. Ишь, придумал тоже... Скорпион! Ну, спасибо, браток, порадовал. Кхе-хе-хе...

Сары Шая был удивительно спокоен, даже вроде бы благодушно настроен. Зато ты готов взорваться. Ярость захлестнула тебя. Ты стиснул кулаки. Всего тебя охватила неодолимая дрожь. И ты знал, что за этим может последовать... Сары Шая, продолжая ухмыляться, краем немигающих глаз мельком покосился на твои чугунные, напряженно сжатые кулаки.

– Браток, это же кувалды! – Он глянул на них уже с открытой издёвкой и, подхватив твой кулак своей рукой, как бы в восхищении взвесил его на ладони. – Вот это да-а!.. Пудовые. Жаль только, не пользуешься ты ими по назначению...

И этот сукин сын, между тем убедившись в твоей нерешительности, ткнул пальцем в твой кулак:

– Убери! Убери это!.. А уж если силы девать некуда, мой тебе совет: докажи-ка лучше это столичному... хе-хе... жеребчику, побратиму своему. Да, да, милоч. Этак будет честнее...

– У, кретин! Сволочуга!

– А? Это ты мне? – удивлённо переспросил Сары Шая и медленно поднялся со стула. Злорадная искорка в жёлтых глазах потухла. Вмиг побледневший, злобный, он смерил тебя взглядом с ног до головы. – Это ты кретин! Я бы даже сказал – кретинище, каких свет не видывал! Бабе твоей средь бела дня подол задирают, мало того, ещё и с собой увозят, а ты... хрен нестоячий.

Что было дальше – ты плохо помнил. Черная, небывалая ярость помутила сознание. Огибая стол, ты пошёл на него...

– Эй! Эй, ты что... пёс бешеный?! Ой-ба-ай-ай!..

Ты уже не обращал внимания на его дикие крики, словно драли старого кота. Вся ярость, что годами копилась в тебе, переполняя чашу терпения, будто перелилась в кулаки. Ты ударил раз, другой и не помня себя заколотил по чему-то мягкому, податливому, визжащему... В какой-то момент углядел кровь. И Сары Шая вдруг замолк, на миг даже вырваться перестал и быстрым движением как-то очень ловко утёрся ладонью, размазывая кровь по всему своему плоскому лицу... И это удивило тебя, но ты уже не мог остановиться и всё бил, колотил, загнав в угол, бил без пощады.

И тут кто-то вбежал, повис у тебя на руке. «Агатай, миленький! – и этот умоляющий, насмерть перепуганный голосок будто взывал откуда-то издалека. – Агатай... Агатай, нельзя! Стыдно!.. Стыдно!..»

Отчего стыдно? Почему... стыдно? Ты не разобрал, кто умолял тебя о пощаде; кому принадлежал этот полный отчаяния и страха голосок, до тебя не дошло. Если ты в ту минуту что-либо соображал, что-нибудь ещё чувствовал, то лишь омерзение и брезгливость к этому, визжащему. В ту минуту всего тебя охватила некая смутная досада оттого, что кто-то упорно мешал тебе, цеплялся за руки, путался под ногами. И, не помня себя от злости, ты отпихнул того, кто мешал. И тут вдруг умолк тонкий голосок. И только тогда ты отрезвел. И увидел девушку в красном платочке, которая, отвернувшись от тебя, плакала, вздрагивая худыми, точно у подростка, плечами. Ты сколько есть силы оттолкнул Сары Шаю и бросился к выходу. В дверях, чуть не сбив с ног кого-то, дико зыркнул на него, не узнавая парторга.

– Баскарма... да ты что? В уме ли?

– Пусти!

– Уймись! Ты что... хочу – бью, хочу – милую? Так, что ли?! Бить человека... Это уголовное...

– Ну, и пошёл ты к...

Ты вовремя спохватился, прикусил язык. Парторг, как бы предоставляя тебе возможность договорить, тоже вмиг умолк. Но, увидев, что ты приходишь в себя и теперь слов клецками из тебя не выгатишь, заговорил сам:

– Ну, ну! Натворил ты... А что это за люди? Зачем их собрал?

Опережая парторга, ты выбежал на улицу. Большая толпа стояла мрачнее тучи перед конторой. И лица у всех хмурые, решительные. Кое-кто даже с плётками, вёслами и баграми. Вперёд вышли Упрямый Кошен и Рыжий Иван.

– Жадигер... родной наш, – загудел Рыжий Иван, – что бы там ни случилось, знай: верные люди ради тебя... ради твоего... Мы с тобой, одним словом...

– Что? Ради меня? Зачем?

– Да, мы за тебя. Только скажи, и мы... – начал было Кошен.

И опять кровь ударила тебе в голову, бешенство ослепило. Только и помнишь, как сбегал с крыльца правления прямо в толпу, как вырвал у кого-то из рук плеть, хлестнул одного, другого.

– По домам! По домам! Прочь! Проваливайте! Чтоб духу вашего... Ах, дурачье! Кого послушались? Кого, а?! Прочь! Прочь!

С перекошенным лицом, с белыми, выкатившимися от злости глазами, ты и впрямь, наверное, был страшен, и толпа вздрогнула, попятилась. Ропот недоумения прокатился по ней, точно ветер по степной сухой траве.

– Никак рехнулся?

– Допекла, стало быть, баба...

– Видишь, лица на нем нет.

– Ойбай, от греха подальше.

Толпа вмиг стала распадаться. Рыжий Иван и Упрямый Кошен тоже отступили, оглядываясь назад. Лишь один шофёр-бала не тронулся с места. В его руке была монтировка. Видно было, он только что подъехал сюда, выскочил из машины: помятый, чумазый, но взгляд твёрдый, жёсткий. Смотрит прямо. Кепка со сломанным козырьком против обыкновения сдвинута на затылок.

– А ты что тут!.. Прочь с моих глаз! Н-ну!.. – Плеть со свистом полоснула шофёра по ногам, обвилась вокруг одной... Но тот не сдвинулся, лишь покачнулся. И тогда ты снова вскинул камчу, угрожающе рывкнул: – Сгинь! Сгинь... Уходи! Все уходите к... Ну-у...

В глазах шофёра сверкнули слёзы. Рука твоя с плетью на миг повисла в воздухе. Ты с досадой отшвырнул камчу. И с ходу, с разбегу взлетел на гнедого, со звёздочкой на лбу, которого, похоже, только что поставил у коновязи напротив конторы парторга.

– Баскарма, куда-а?! Постой... – пытался он остановить тебя.

Подобрав повод и заворачивая коня, ты на миг в упор глянул на него.

– К морю съезжу, – и ударил гнедого каблуками.

– Слаб лёд. Ни сегодня, ни завтра не сунуться, – прокричал парторг.

Ты понимал, что не скоро вернёшься. Конь галопом вынес тебя за аул, в побелевшую прибрежную степь, и лишь там ты попрдержал его. Спустился заметённой снегом тропинкой по крутояру к берегу. Отпустил, стреножив, гнедого, а сам зашагал к морю. Но и тут Сары Шая не выходил из головы, будто путался под ногами, визжал и кричал. Ты зашагал быстрее. Шёл долго, пока не почувствовал, как, прогибаясь, потрескивая под ногами, стал подаваться хрупкий молодой лёд. Ты остановился... И стоишь весь день... Один...

Вот и короткий зимний день клонится к вечеру. Ты всё стоишь и смотришь на свои следы, будто ищешь и находишь в них какой-то затаённый смысл. Но какой? Ты вздрогнул. Тебе примерещился вдруг Сары Шая с окровавленной рожей. И тут, осенённый неожиданной догадкой, ты остолбенел. Постой! Почему этот визжавший желтоглазый сморчок вдруг разом затих, едва из носа пошла кровь? Даже не уклонялся. Не пытался отворачиваться... Почему он, словно готовый умереть в твоих руках, сам лез под кулак, поочередно под-

ставляя то нос, то глаза, то лицо? Да... Постой!.. Постой! Если, скажем, подбит глаз, в кровь разбит нос, то ведь лучших улик и не сыскать... Вот оно что... Вот к чему рвался, стремился желтоглазый интриган... Ах, стервец! Ах, скорпион!.. В чёрной злобе сам себя жалить готов! Теперь небось набьёт карманы актами и помчится в район. Интересно, как поведёт себя Ягнячье Брюшко, когда увидит на столе компрометирующие тебя бумаги? Неужели и здесь, сцепив пальцы на животе, похвалит Сары Шаю: «Маладес! Ай, ма-ладес!» Впрочем, об этом ничего определенного ты сейчас сказать не можешь, но зато повадки своего родственничка хорошо знаешь. Если ничего в районе не добьётся, пойдёт дальше и выше. Не выйдет в области – отправится в столицу. Кто-кто, а он-то уж для достижения своей цели не пожалеет ни времени, ни себя. И будьте уверены, непременно найдёт управу на зарвавшегося председателишку какого-то рыболовецкого колхоза.

* * *

Вдруг поднялся сильный ветер. Полетел большими хлопьями снег. Вначале как бы нехотя, негусто, затем сплошняком по всему видимому пространству залива. Мороз также усилился, стал заметно драть щеки. Жадигер, на ходу отворачиваясь от ветра, шагал к берегу. Он полагал, что те, должно быть, давно уехали из посёлка. Но, если бы отправились вдоль моря, он бы их увидел. Однако за целый день никто не проехал по берегу. Значит, они уехали верхней, степной, дорогой. Что ж... уехали так уехали.

Снова и снова устремляя взгляд вперёд, на окутанный мраком берег, налегая грудью на упругий ветер, он шёл вперёд. Резко похолодало. Ветер гудел, привывал над его головой. Берег то показывался на миг, то вновь исчезал в круговерти снега. Председатель был не так далеко от берега, когда впереди, на откосе кручи, что-то вроде бы мелькнуло. Может, скотина какая или человек. Или конь его забрёл... Снег залеплял глаза. Бил в лицо. Втянув голову в плечи, изредка поглядывая вперёд, он шёл, уже круто наваливаясь на ветер боком. Только что мелькнувшая было впереди черная точка скрылась, быть может, за дюной...

Он спешил, хотелось скорее увидеть мать, прижаться к ней. Она, конечно, на этот раз не оттолкнула бы его... Наоборот, как прежде, в далёком детстве, молча погладила бы по голове. Да, к матери. И – к сыну несчастному. Всё остальное к чёрту! К чёрту! Желая ещё до полной темноты добраться до стреноженного в прибрежных камышах жеребца, шагал крупно. Встречный береговой ветер сбивал дыхание. Пошли сувои, перемежаемые наледью. Иногда казалось, что лёд будто вздымается, вспучивается под ногами, дышит. Возможно, там, в глубине, проходило сильное течение. Молодой гибкий лёд явно проседал, прогибался от подлёдной волны, поскрипывал. Ты-то знал, что налетающий со степи шквальный ветер и сильные подводные течения нередко отрывают и уносят береговые льдины в открытое море. И страх закрался в душу. Низовая позёмка уже мало-помалу переходила в пургу. Ветер на какое-то мгновение притихал, чтобы с ещё большей яростью налететь, ослепить. Ты шёл вперёд, по-прежнему пригнув голову.

А снег, сухой и колючий, всё сыпал, всё хлестал с невидимого неба. Сёк, обжигал лицо, выбивал слезу, норовя влезть за пазуху, за ворот. Становилось невозможно, ты поворачивался и, переводя дыхание, отирая лицо, смагивая снег с ресниц, шёл – спиной вперёд. Дело подворачивало к приаральской неукротимой чёрной буре. Из головы не выходил берег, почему... почему его не видно? Ты остановился, вытер иссечённые снежной крупой лицо, глаза. Постоял немного, потом нагнулся, отворотив лицо от ветра, пошёл. И тут сквозь

косые белые струи пурги что-то мелькнуло и пропало у твоих ног. Нагнулся и увидел крохотную птаху, которая ещё днём прилетела к тебе бог весть откуда. В этой бесновавшейся белой мгле она тоже, как могла, боролась за жизнь. Видать, тоже рвалась к берегу, на что-то надеялась и, с великим трудом преодолевая снежный ветер, перепархивала, падала, катилась назад.

– Ой, бедняжка... пропадёшь. Ну, давай, иди, иди ко мне. Не бойся, не трону тебя.

И ты нагнулся, протянул руку к птахе, и, со снегом, полной горстью, загрёб её и сунул за пазуху. Почувствовал, как она там трепыхалась, счищая с себя снег, и удобнее устраивалась за пазухой.

А берега всё не было видно. Ты боялся, что молодой лёд не выдержит долгого напора ветра и течения, опасался, как бы не надломило, не оторвало его от материкового припая, не погнало в штормящее море... Ты уже брёл вслепую, наугад, падая грудью на ревущий плотный ветер. И вдруг... что это затемнело сбоку? Ты двинулся в ту сторону, потом побежал... Вдруг как вкопанный остановился. И только теперь увидел лошадь... Она испуганно вскинулась, завидев человека, неожиданно вынырнувшего из пурги, попятилась, фыркнула. В санях, натягивая вожжи, поднялся кто-то в волчьей шубе... Выбравшись из саней, протянул руку своей спутнице, закутанной в белую пуховую шаль.

– Видишь? Его там всем аулом ищут, с ног сбились, а он, оказывается, вот где... – крикнул сквозь ветер мужчина.

Он не спешил повернуться к тебе. Женщина неохотно вылезла из санок, застеленных ковриком. И ей, видно, сразу стало неудобно. Ни на кого не глядя, сделав лишь шаг, остановилась, пугливо заозиралась по сторонам, вглядываясь в белый крутящийся мрак пурги. Мужчина в шубе, желая взять её под руку, сделал шаг к женщине, но то ли от ветра, то ли по другой какой причине вдруг пошатнулся...

– Азим... Поедем скорее!

– Что, милая?

– Умоляю, поедем!

– Ну как же... Сама ведь искала его... Поговорить хотела.

– Прости... Но поедем.

– Испугалась, что ли? Че-пу-ха! Обычный буран. Мне такая погода как раз по душе. – Азим громко засмеялся. Было понятно, что он навеселе, принял, должно быть, «на посошок»... – Ну, дружище... – Покачиваясь, он подошёл к тебе. – Как видишь, мы едем. Да, едем!..

Почему-то тебе стало не хватать воздуха, и ты пригнулся, будто от ветра, задышал открытым ртом, словно рыба, выброшенная на сушу. И Азим, видно, что-то заметил, потому как, заслонясь рукой от ветра, пристально посмотрел на тебя.

– Что бы там ни было, а мы с тобой цивилизованные люди. Для меня ревность – дикость. К чёрту ревнивцев! Не понимаю и не хочу понимать всех этих... кто убивается по юбке! Мужчина, старик, должен быть свободен...

Азим громко разглагольствовал, а с тобой что-то происходило. Опять перехватило дыхание, и ты ничего не смог, не сумел ему сказать в ответ.

– Вины за собой не чувствую. И потому прощения не прошу. Я тебе ничего не должен. Хочешь знать, я вернул себе лишь то, что по глупости когда-то уступил тебе. И весь тут сказ! Как видишь, для мировой скорби причин нет... Ну, бывай, старик!

Азим резко повернулся и пошёл к лошади. Она, казалось, с трудом выдерживала порывы ветра, отворачивала голову, беспокойно перебирала ногами. Человек едва успел сделать шаг, как вдруг гулко ухнуло на льду залива,

пушечной силы звук покотился с перекатами в мутную глубину пурги. Азим, будто споткнувшись, замер на месте. Бакизат зажала уши и тут же бросилась к нему, схватила за руку, приникла к его плечу, оглядываясь назад. В первое мгновение ты ничего не понял. И лишь когда опять чуть ли не под самыми ногами треснуло и что-то тёмное стремительной змейкой поползло... Тут твой взгляд метнулся туда, на звук, и ты обомлел... Под брюхом лошади, чуть наискосок, уже чернела и стремительно раздвигалась, выплёскивая на лёд дымящуюся паром воду, зияющая трещина. Лошадь, вся напрягшись и вздрагивая закуржавленным крупом, какой-то миг стояла как вкопанная... потом, задирая оглобли и волоча за собой сани, рванулась в сторону. Но, обламывая кромку льда, сокрушая его ударами копыт, саданув ими разок-другой по передку саней, лошадь стала заваливаться, дёргаясь в гибельных путах постромок, и с шумным плеском ухнула в полынью.

– Ой-ба-а-а-ай!..

Отчаянный вопль женщины пронзил тебя. И под ярким натиском ветра и морского течения с треском и перекатывающимся грохотом продолжал ломаться по всему заливу неокрепший лёд. И, ужасая стремительностью своею, росла, ширилась черная, исходившая паром трещина-полынья... «Всё, теперь поздно... поздно...» – одно только это пронеслось у тебя в голове. Оцепенев, глядел ты на эту расширяющуюся роковую полосу. И в те несколько секунд, когда ты пытался сообразить что-то, лошадь, вскинувшись и рванувшись, взбросила передние ноги на льдину, пробороzdила её копытами, но, утягиваемая санями, неловко завалилась назад и с громким всплеском скрылась под ледяным дымящимся крошечком... Кажется, всё, конец, подумал ты... но нет, всплыла, показалась вначале сбившаяся дуга, затем вынырнула из ледяной купели голова лошади, чёрная, мокро-атласная, жуткая... Вынырнула и отчаянно рванулась, но не к береговой льдине, а к вашей, на которой вы уплывали. Фыркающая, порываясь из последних сил, она достигла наконец её и положила голову на край льда. И такую муку, такую тоску увидел ты в её расширившихся от страха глазах, что, ничего не соображая, кинулся к ней, схватил за недоуздок, стал рвать на себя. И несчастное животное напряженно вытянуло шею, точно подставляясь под нож, и забило ногами в воде, всё подалось к тебе в тщетной потуге вырваться из беды, из смерти... И ты что есть силы, соскальзывая и чуть не падая, тянул за недоуздок. А лошадь билась, дёргалась, хрипела, обречённо выкатив глаза, и тяжело стонала...

– К чему это... оставь! – раздалось за спиной.

Мокрый недоуздок выскользнул из твоих рук. Отделившийся от ледяного поля большой обломок, медленно разворачиваемый в полынье течением, надвинулся вначале на всплывшие боком сани, ударил одним концом и притопил их, между тем как другой край льдины с разворота надвинулся на лошадь... Вот уже напoлз, подминая, на конский круп. И в последнем рывке вскинулась она, жалобно заржала в тоске прощания с этой угрюмой, воющей голосом ветра жизнью и мгновенно ушла в воду, – и больше не появилась из неё. Ты стоял, оцепенелый, пошатываясь от неистовых порывов ветра, стоял и смотрел туда, в черную приплясывающую воду...

– Как... как же это? Что теперь делать? – растерянно бормотал, топтался позади тебя Азим.

Ты обернулся. Вот он стоит, мигом протрезвевший, растерянно озираясь, всё ещё не понимая, видимо, во сне всё это происходит или наяву, весь этот разом обрушившийся на него ужас, эта стонущая по всему пространству Арала снежная буря, эта смерть, зловеще махнувшая крылом перед самым его лицом. И эта уносимая ветром льдина, на которой они стояли.

– Как же так?.. Кто бы мог подумать?..

– Хватит! – перебил ты его. – Теперь об одном думай: как шкуру свою спасти.

– Шкуру?

– Для начала иди, шубу свою надень...

Но Азим, видно, совсем потерял голову. Подбежал вдруг к Бакизат, до самых глаз укутанной в пуховую шаль, в ужасе застывшей там, куда успела отскочить, когда рядом разверзлась пучина... Потоптавшись возле неё, Азим что-то сказал или спросил и всё той же неуклюжей трусцой вернулся назад к тебе, непроизвольно стараясь и на этот раз стать с подветренной стороны.

– Слушай, дружище... Ты что-то сейчас сказал, да?

– Ничего такого не сказал...

– Ну, как же... Должен быть какой-то выход...

– Какой тут, к чёрту, выход. Я сказал: шубу свою надень, а то околеешь.

– Шубу?.. А куда я её задевал? Ч-чёрт, на мне же была... Где... где она? – засуетился Азим.

Ты отвернулся. Чёрная буря гнала, уносила льдину в открытое море. Кругом, куда ни глянь, кружил и бесновался серый мрак. Ни аульного огонька на берегу, ни самого берега, ни насуспенного склона горы Бел-Аран. Ожесточённо стегал и тёк с тёмного неба мелкий злой снег. Всё больше нарастали и стервенели волны, тяжело накатывались на ненадёжную льдину, далеко растекаясь, шипя и угасая на снегу.

И, одинокие на этой льдине, отрезанные от всего мира, стояли трое. Ты, втянув голову в плечи, нахохлившись, повернулся спиной к ветру. Стоял, чего-то ждал от неба и судьбы. И вдруг вспомнил про свои следы. Вспомнил и невольно глянул под ноги... Их не было. Новый шквал ветра налетел, пошатнув тебя, бросил в лицо горсть колючего снега, засыпал глаза и рот, гулом всесветного ненастья наполнил опустошённую голову. И тебе стала ясна вся бессмысленность твоего желания – увидеть их, эти следы... И ты затрясся весь от сумасшедшего, мстительно-злорадного смеха, согнулся пополам, перхая, как овца, поматывая головой...

О безумец! Безумец!.. Какие могут быть следы в этой дикой, ожесточённой на всё живое круговерти, где сверху валит снег, землю заволокла пурга, и сатанински воет, беснуется ураганный ветер Приаралья? Не то что какие-то следы – в этой дьявольской мешанине невозможно, немыслимо даже представить, где верх, где низ, где восток, где запад, – всё сошлось и смешалось... Да и разве не смешна, не безумна ли сама попытка искать в этом первородном смешении земного и небесного ещё и какие-то следы человека на земле. На той земле, которая с самого сотворения своего была, подобно разгульной бабе, средоточием непостоянства, измены и лжи. Искать, да ещё и стараться при этом угадать в них, в этих следах, некий спасительный здравый смысл. Не смешно ли, не горько? О ты, человек, человек... Скорбна твоя мысль, длинны раздумья, но недолог путь. О глупец! Глупец!

Конец первой книги.

